



«НЕВИННОЕ ТВОРЕНЬЕ»

И. Ю. ВИНИЦКИЙ

1.

В 1802 году в московской Университетской типографии Гария, Любия и Попова вышла книга с характерным для того времени названием «Утехи Меланхолии. Российское сочинение А. О.». Книга была аннотирована в московских и петербургских «Ведомостях»: «Сочинение сие и со стороны мыслей и со стороны слога может рекомендовано быть чтению особ, любящих заниматься книгами, кои нечувствительно заставляют читающего входить в себя, обдумывать сказанное в оных и тем самым питать дух и сердце. В ней

помещены мелкие отрывки, числом 36, кои Автор начертал о разных предметах, размышлению его попадавшихся, и кои приносят честь образу суждения его и отличаются тонкостью мыслей и трогательностью изъяснения. Вот некоторые из оных: К отчизне — удовольствие время препровождение — ничтожность подлунного — жребий человечества — чувство приятного — весенняя прогулка — вид осени — мавзоль сердца (...) — истекшему 1801 г. — Гимн Создавшему и проч., и проч. Цена в бум. 50 коп.» (Московские ведомости. 1803. №№ 9, 35, 38; Санкт-Петербургские ведомости. 1803. № 35).

В течение последующих трех лет издатели продолжали напоминать о книге, но рекламные извещения со временем становились все короче, пока совсем не исчезли со страниц газет.

«Утехи Меланхолии» содержат описания мыслей и переживаний задумчивого помещика, проводящего свои дни в тихой провинции. Подобного рода произведения типичны для русской словесности рубежа веков. Достаточно назвать «Обитатель предместия» Н. М. Муравьева, «Матвеевское» П. Ю. Львова. Как правило, такие книги являются собранием разных заметок и статей, написанных автором за определенный промежуток времени и связанных единством настроения и местом их создания. В «Утехах Меланхолии» воспроизводится практически весь модный сентиментально-меланхолический набор тем, мотивов и образов: утренние и вечерние прогулки, излияния отеческих, дружеских, патриотических и религиозных чувств, рассуждения о пользе уединения и противопоставление сельской жизни «кружению светского мечтателя», сетования при гробе, описания красот кладбища и проч. и проч. Во всем этом, конечно же, нет ничего необычного. И все же «Утехи Меланхолии» — книга незаурядная. Исключительно простодушной — до курьезности — манерой изложения она заметно выделяется даже на фоне наивных и неумелых произведений меланхолической школы! Вот небольшой коллаж из высказываний автора: *«Томно бушует желтый бор, сотрясая шумную скинию! Природа в Энергии! Я один, один, — с моею грустию брожу по нагому элементу, прислушиваюсь к завывающим ветрам, и с моим Юнгом фантазирую по туманному Альбиону, где рыдал любомудрый певец сей ... Хмырая твердь. При угобженных полях мычат упругие кравы. Слабо воркует пернатое ... с томною любопытностью смотрю на жалкое четвероногое. Проходя мимо побудительных предметов [Киевское кладбище], чувствую некий порыв к идеальности. Но — сирю мое воображение без созгармонирующего ... Я пишу сии строки, восседа на увядающем злаке. Период эфирный! Проникла амбра в чувствительность фибр соглядаемая...»*

Это сочинение отличает какая-то невероятная и для тогдашнего

состояния литературного языка стилистическая какофония — «гремучая смесь» из ярко выраженных варваризмов: *траур периодический, компанист души моей, феномен Эвропы* (об Александре I!), *авантажный, меланхолизм* (!), *патриархализм*, *нагой элемент* и т. п.; «ветхих» славянизмов: *дондеже, сый, кравы, вонми, се, восседя* и т. п.; составных слов-неологизмов «греческого» типа: *почтенноужасная* будущность, *унылозадумчивая* физиогномия, *дикогустейшая* мгла, *крутоскатистая* гора, *травокосы, суетно-пресмыкатель* (!) и даже состоящее из трех корней слово *юнобратно-облеченная* Природа. Подобное «смешение» может встречаться и в пределах одного составного слова: ср. *«тленно-организованный состав мой»!* Путаный, архаизированный синтаксис (с постоянными *колико, елико*) причудливо сочетается здесь с короткими, эмоционально выделенными, «инверсированными» на французский лад предложениями, характерными для так называемого «нового слога».

Весь этот макаронизм нельзя объяснить исключительно «неразвитостью» литературного языка эпохи или бездарностью, «глухотой» сочинителя «Утех Меланхолии». В этой внешне эклектичной манере есть своя логика, свой принцип. Последний удачно выражают слова самого автора — «витийственнейший энтузиазм». Именно он требует для излияния восторженных чувств, вызываемых самыми обыкновенными происшествиями и явлениями (прогулка, ужение рыбы, игры маленького сына, закат солнца), особых, возвышенных слов — независимо от их происхождения. Возникает своеобразная нейтрализация «французского в штиле элеганса» (А. С. Шишков), придающего слову налет «современности», и «ветхой славенщины», сообщающей ему оттенок «книжности». Нейтрализация, так сказать, на высоком стилистическом регистре. В свою очередь и архаизированный синтаксис, и «новомодный» перифрастический слог придают стилю «Утех Меланхолии» особую высокопарность. Это не имитация «светского жаргона», но ярко выраженная *искусственная речевая поза*.

Такая эстетическая установка, более характерная для конца XVIII века, в начале 1800-х годов уже казалась архаичной. Перед ее былыми сторонниками открывались две возможности: либо «опрошение» стиля, его «заземление», сближение с «щегольским наречием», либо, наоборот, еще большее усложнение, поиск высоких материй для энтузиастического воспевания — то есть, условно говоря, путь к Шаликову и путь к Шишкову, в «Беседу» (как это было с П. Ю. Львовым и Я. А. Галинковским). Попытка остаться на «старом» пути (а по сути дела, на стилистическом «распутьи») могла в начале XIX века вызвать насмешки и негодование многих «определившихся» литераторов.

2.

Кто же автор этого любопытного сочинения? Ответить было трудно, по всей видимости, потому, что в криптоне, скрывшем имя сочинителя, была допущена опечатка: вместо А. О. на обложке значилось А. Θ. Хотя в тексте сам автор называет себя О., опечатка перекочевала во многие библиографии (А. Ф. Смирдина, № 6235; В. А. Плавильщикова, № 6518; А. Шторха, № 1383; В. С. Сопилов называет сочинителя А. О., но В. Н. Рогожин поправляет его — А. Θ., № 12283).

Интересующий нас автор, судя по его книге, — тульский помещик, владеющий домом в Ч... (Черни?) и несколькими селами — Никольским в Алексинском уезде и родовой деревенькой с замечательным для Тульской губернии названием Готический остров («милый удел собственности»). Нетрудно вычислить год рождения А. О. — 1772 (в одной из главок, датированной 1801 годом, говорится о том, что минул 29 год его жизни). Таким образом, А. О. принадлежит к «сентиментальному» поколению рубежа 1770-х годов (П. И. Шаликов, Б. К. Бланк, П. Ю. Львов, В. В. Измайлов и т. д.). В числе его друзей и «чувствительных» корреспондентов упоминаются «любезный Философ и Филантроп» П. (очевидно, Ф. Г. Покровский — литератор, тульский педагог и ученый, ранний учитель В. А. Жуковского), «любезный Автор книги „Плод свободных чувствований“» князь П. И. Шаликов и «сын Меланхолии» Е. И. С. (очевидно, Евстафий Иванович Станевич — будущий поэт-беседчик). А. О. женат и имеет малолетнего сына Сашеньку.

Главки-этюды, составляющие «Утехи Меланхолии», написаны, судя по датировкам некоторых из них, в 1798—1802 годах. Просматривая журнал «Иппокрена» за эти годы, нам удалось обнаружить две небольшие чувствительные статейки «Журнал уединенного» и «Мавзолей сердца», подписанные А — ь О — ь (Ч. I. С. 247—252 и Ч. XI. С. 358—359). Эти статейки вошли в книгу «Утехи Меланхолии» под заголовками соответственно «Уединенный» и «Мавзолей сердца». А. Н. Неустров расшифровывает криптоним А — ь О — ь как Александр Обрезков (в число его произведений входит также статья «О теплицах Константиногорских ...»). В «Словаре псевдонимов» И. Ф. Масанова также упоминается Александр Обрезков, «писатель начала XIX века», печатавшийся под псевдонимами А — ь О — ь и А. Обрзкъ.

По всей видимости, это Александр Васильевич Обрезков — сын лейб-гвардии Семеновского полка капитан-поручика Василия Ивановича Обрезкова (1731—1787), богатый тульский помещик, в 1798 году — капитан лейб-гвардии Измайловского полка, в 1802 — подполковник. Имел большую семью (младший сын — Александр). К сожалению, ничего больше о жизни А. В. Обрезкова нам пока

неизвестно. Зато о судьбе его «русского сочинения» можно говорить как о весьма примечательной.

3.

Александр Обрезков завершил книгу патетическим призывом к «мудрой Природе» укрыть его «в милом уединении» «от Зоилов века сего». Однако случилось так, что произведения Обрезкова заметили как раз те, кого он более всего боялся.

«Утехи Меланхолии» попали в самый водоворот начинавшейся «войны на Парнасе» и, по иронии судьбы, стали желанной добычей для обеих враждовавших группировок: если бы этой ультра-сентиментальной книги не было, пришлось бы отыскивать, а то и сочинять нечто подобное!

Видимо, первым обратил на нее внимание А. С. Шишков. В самом деле, примеры сентиментального «элеганса» в «Рассуждении о старом и новом слоге русского языка» (СПб., 1803) взяты преимущественно из «Утех Меланхолии» (см. А. Д. Галахов. История русской словесности, древней и новой. Изд. II. СПб., 1880. Т. II. С. 69—70). Шишкова возмущают безграмотные сочетания, вроде «Мысль первого Мая», «надутые» перифрастические описания, характерные для «нынешнего нашего слога», когда «вместо: жалкая старушка, у которой на лице написаны были уныние и горечь», говорится: «трогательный предмет сострадания, которого уныло-задумчивая физиогномия означала гипохондрию» и т. п. Прервав наконец свое «сокрушительное» цитирование «Утех...», Шишков признается, что не кончил бы, «если бы захотел все подобные сему места выписать из нынешних книг, которые не в шутку и не в насмешку, но уверительно и от чистого сердца, выдают за образец красноречия» (вероятно, намек на рецензию в «Ведомостях», расхваливавшую «слог» «Утех Меланхолии»). Показательно, что Шишков ни разу не называет сочинения, откуда сделаны эти «выписки», но всячески стремится подчеркнуть их типичность для «нового», *карамзинистского*, слога. Понятно, что такое обвинение (безусловно, некорректное) требовало немедленного ответа от молодых сторонников Карамзина.

А. С. Шишкова «Утехи Меланхолии» возмущали — младших карамзинистов они веселят. Творец этого сочинения, искренний почитатель Н. М. Карамзина, становится еще одной «очистительной жертвой карамзинистов» (выражение Ю. Н. Тынянова).

В 1803 — начале 1804 года, читая «Рассуждение...» Шишкова, В. А. Жуковский обратил внимание на «образцы красноречия», взятые из «Утех Меланхолии». «Сумбур», — отметил он на полях и добавил чуть ниже: «Что бы автор (то есть Шишков. — И. В.) сказал, если бы еще прочитал Тодорского! Он бы воскликнул: таков ны-

нешний русский слог!» (Цит. по: Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Томск, 1978. Ч. I. С. 114—115). Иван Тодорский — «рептильный поэт», над которым насмехались в Дружеском литературном обществе, — представлял, по сути дела, иной полюс «нелепости», на этот раз «архаической» (ср. из его «Оды на день воскресения Христова». М., 1802: «Сам сущ пресвят, греха незнай, / По нас бысть клятва, самый грех — / Адамов долг на ся взимаяй, / Отцу он платит весь за всех»). Для Жуковского подобные сочинения — крайности, сумбур (не важно, «нового» или «старого» образца), достойный осмеяния. «Примеры» Шишкова не имеют никакого отношения к слогу Карамзина, который «один писал у нас свое и так, как надобно» (Библиотека В. А. Жуковского ... С. 111).

В 1804 году К. Н. Батюшков пишет «Послание к стихам моим» — острую сатиру, направленную против бездарных литераторов — современников. Среди «антигероев» этой сатиры — некто Безрифмин, о котором в одной из редакций, просмотренной автором, сказано:

Безрифмин говорит о милых, о сердцах
И сердца мавзолеем твердит в своих стихах;
Но книг его — увы! — никто не покупает,
Хотя и <Глазунов> в газетах выхваляет.

(Батюшков К. Н. Сочинения. Под ред. Л. Н. Майкова. СПб., 1885—1887. Т. I. С. 304, 306). Ко второму стиху сделана сноска: «Безрифмин точно написал отрывок „Мавзоль моего сердца“». Л. Н. Майков и В. И. Саитов установили, что речь идет «о сочинении некоего Александра Обрезкова», напечатанного в «Иппокрене» статейку с таким названием (Там же). Комментаторы также обратили внимание на эпиграмму Батюшкова 1805 года: «Безрифмина совет: / Без жалости все сжечь мое стихотворенье! / Быть так! Его ж, друзья, невинное творенье / Своею смертью умрет!»

Саитов и Майков не знали, что Александр Обрезков, автор «Мавзолея сердца», и сочинитель «Утех Меланхолии», куда вошел названный отрывок, — одно и то же лицо. Книга эта была расхвалена в газетах. В ней постоянно говорилось «о милых, о сердцах» и «чувствительности души» (ср. названия главок «При свидании с милым», «Предмет чувствительности, урна милой Н.»). Частые рекламные объявления в течение нескольких лет могли привести к заключению, что «книг его — увы! — никто не покупает». Наконец, «невинное творенье» в эпиграмме 1805 года вполне может означать чувствительные «Утехи Меланхолии». В таком случае сноска «Безрифмин точно написал отрывок „Мавзоль моего сердца“» свидетельствует о раскрытии криптонима Обрезкова. После

шишковского «разгрома» «Утех...» это «разоблачение» было бы весьма актуальным!

В окончательном тексте «Послания к стихам моим» нет строки о мавзолее сердца. Но Батюшков не забыл о нем и использовал в знаменитом «Видении на берегах Леты». Речь идет об описании «лиц новых из белокаменной Москвы», воспевших «детской прозой и стихами» «кладбище, мавзолей, <...> журнал души своей». Название заурядного произведения никому не известного сентименталиста привлекало своим очень показательным и очень курьезным звучанием: мавзоль сердца, то есть надгробный памятник сердца — могила сердца автора (ср. подобные «капище моего сердца» И. М. Долгорукого, «святилище сердца» П. Ю. Львова, «сердце — вечный мавзолей» неизвестного сочинителя стихов на смерть митрополита Платона). «Кладбищенская тема», буквально захлестнувшая произведения писателей-меланхоликов от П. И. Шаликова до Е. И. Станевича, в начале XIX века стала стереотипной и «навязчивой». Похоже, что именно эта тема инспирировала столь полюбившийся Батюшкову и арзамасцам прием пародических «литературных похорон»: унылые писатели непрерывно хоронили и оплакивали героев и своих милых — Батюшков и арзамасцы «хоронят» и «оплакивают» их книги, самих авторов («Видение на берегах Леты», арзамасские протоколы). Не случайно книжная лавка в сатирах и пародиях часто называется «кладбищем книг». Наиболее ярко эта «похоронная тема» представлена в «надгробных речах» арзамасцев, пародировавших многочисленные «сетования при гробе» писателей-меланхоликов. Неудивительно, что книга А. Обрезкова «Утехи Меланхолии», с ее унылыми восторгами, сетованиями, урнами, мавзолеем, «чиркливыми ласточками» и «вопящими совами», нашла своих «читателей» в «Арзамасе»: она успешно представляла «отжившую», а следовательно, смешную меланхолическую традицию.

В 1819 году об этой книге вспоминает в письме к А. И. Тургеневу князь П. А. Вяземский: «Кровь у меня в жилах не течет, а клокочет, как самовар творца „Утех Меланхолии“. Дай же мне Шаликова!» Вяземский имеет в виду описание клокочущего самовара в главке «Удовольственное время-препровождение». Показательно, что «легендарный» сочинитель «Утех...» ассоциируется с именем чувствительного князя, очередное произведение которого Вяземский и просит прислать ему в Варшаву (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. I. С. 306).

Видимо, ввел в арзамасский обиход «Утехи Меланхолии» Жуковский. Об этом свидетельствуют заметки князя Вяземского 1866 года: рассуждая о бездарных и глупых книгах, бывших «настольными» в «Арзамасе», Вяземский отмечает «особый дар» Жуковского

«отыскивать книги подобного рода и наслаждаться ими. Они служили ему для возбуждения здорового смеха, для благорастворения селезенки (...) как говорят французы. Помню между прочим книгу Утехи Меланхолии, которая утешала и потешала нас до слез» (Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива. М., 1866. С. 72). Эта своеобразная «похвала глупости» характерна для арзамасского мироощущения: чем нелепее была книга, тем выше ее эстетическая ценность в веселом перевернутом мире «Арзамаса».

Название «русского сочинения» Обрезкова пародически переосмысливается Вяземским в арзамасском духе, и оказывается, что печальное сочинение сентименталиста способно «утешать и потешать» его веселого читателя. Эта «арзамасская веселость» — культурный феномен, сложившийся в определенном кругу в известную эпоху, и сам Вяземский в 1866 году чувствует, что такая веселость утрачена современностью: «И теперь нельзя-таки жаловаться на совершенный недостаток в глупых сочинениях; но (...) не слышать уже знакомого нам искреннего, радушного, веселого хохота, возбужденного забавною и безвредною глупостию. Теперь глупец идет в коммунисты, в нигилисты, в реформаторы, со всех ног перепрыгивает в передовые люди, и пишет тяжелые статьи в журналах. Глупость и вранье и тут на лице, но ничего в них забавного: (...) а если они нас не веселят и не потешают, то на что они годятся?» (Там же. С. 72—73). Еще один парадокс: «Утехи Меланхолии», потешавшие Вяземского в молодости, влекут теперь за собой *меланхолические размышления*...

И все-таки замечательно, что о «глупой» книге забытого писателя Вяземский помнит через шестьдесят с лишним лет после ее появления! «Бессмертен я, пока забавен», — некогда писал Батюшков об одном «образцовом глупце». Нам кажется, что книга «Утехи Меланхолии» чувствительного сочинителя Александра Васильевича Обрезкова не утратила своей «забавности» и по сей день.





«Старый русский великан»

А. А. ИЛЮШИН,
доктор филологических наук

В 1832 году написано стихотворение М. Ю. Лермонтова «Два великана», в котором поэт обращается к событиям двадцатилетней давности — Отечественной войне с французами, а также ее роковым для Наполеона последствиям. Это стихотворение обрело довольно широкую известность:

В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далеких чуждых стран.

Комментаторы указывают, что здесь в аллегорической форме изображено столкновение России с Наполеоном, «трехнедельным удальцом», задумавшим померяться силами с твердынею нашего отечества и нашей государственности и потерпевшим поражение. Русский великан оказался сильнее: улыбнулся, посмотрел, «тряхнул главою» — и тем самым поверг дерзкого противника, отбросив его далеко, за море, «на неведомый гранит» (остров св. Елены).

Зрительное представление о русском великане включает в себя образ золотой шапки. Что это за шапка? Кажется самоочевидным, что речь идет о золотом куполе, венчающем восьмидесятиметровую колокольню Ивана Великого в Московском Кремле. Но не рискуем настаивать на том, что великан — это и есть сам Иван Великий. Очень может быть, что великан — весь в целом Кремль с его стенами, башнями и соборами, и лишь глава его в шапке — купол Ивана, самая высокая точка в Кремле. Во всяком случае, через

несколько лет после «Двух великанов» Лермонтов вернулся к этому мотиву в поэме «Сашка», и в ней дело представлено именно так. Там автор прямо на «ты» обращается к Кремлю, используя некоторые фразеологические обороты из своего стихотворения 1832 года:

...И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою...
...ты вздрогнул — он упал!

«Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случилось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве...» Так начинается юнкерское сочинение Лермонтова 1834 года «Панорама Москвы». Автору довелось встать вровень с головой «старого русского великана» и с высоты птичьего полета обозреть вид любимого города. «Москва, — пишет он, — не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке...нет! у нее есть своя душа, своя жизнь». В примечаниях к лермонтовскому Собранию сочинений (Л., 1981. Т.4. С.470) сказано, что эти слова «звучат как прямое возражение против официозной точки зрения». Так ли? Было бы странно, если бы официоз с его показным патриотизмом покушался унижать Москву. Скорее, Лермонтов здесь спорит не с идеологией официоза, а с пессимистическим отрицанием общепризнанных ценностей, каковому и сам подчас бывал подвержен, низводя их с высоких пьедесталов («все так ничтожно!»). И не официозен же, в самом деле, у А. С. Грибоедова Чацкий, осуждающий Москву...

В 1833 году вышел сборник стихов опального поэта А. И. Полежаева «Кальян», где опубликовано его стихотворение «Иван Великий». Можно полагать, что оно было особо замечено Лермонтовым. Там есть слова:

Люблю в раздумье любопытном
Взойти с народною толпой
Под самый купол золотой
И видеть с жалостью оттуда,
Что эта гордая Москва,
Которой добрая молва
Всегда дарила имя чуда, —
Песку и камней только гряда.

Ср. с лермонтовским сочинением, написанным чуть позже: тоже взгляд на Москву с вершины Ивана Великого. Но Полежаеву видна лишь «каменной гряда», в то время как для Лермонтова Москва не есть «громада камней», а нечто одухотворенное. Позволительно предпо-

ложить, что именно с Полежаевым — при всем глубоко сочувственном отношении к нему — он в данном случае и спорит. Это ближайший для него источник. Написанную же еще позже поэму Лермонтов специально назвал именем полежаевской, тем самым явив солидарность со своим предшественником: «„Сашка“ — старое название! / Но „Сашка“ тот печати не видал, / И, недозревший, он угас в изгнание». Имеется в виду запрещенная поэма 1825 года и трагическая судьба ее создателя.

В разработке темы о Наполеоне в Московском Кремле у Полежаева и Лермонтова есть некоторые сходные мотивы. Кремль, во-первых, хотя и показан вроде бы древним, но в то же время каким-то омоложенным, возраст его уменьшен: «вековой исполин» (Полежаев), «столетний великан» (Лермонтов). Неужели этому старцу «всего лишь» сто лет? Лермонтов, впрочем, заглядывает и в более глубокую старину — в XVI век, обнаруживая тем самым неточность эпитета *столетний*. Для Полежаева же история «векового исполина» — Ивана Великого — начинается только с петровской эпохи, проходит через весь XVIII век и ведет к пожару Москвы в 1812 году.

Иван Великий так сильно оттолкнул Наполеона, что тот не просто упал, но отлетел далеко — за дальние моря. И теперь русский поэт, посетивший Кремль, бросает мысленный взор за его стены в неоглядные просторы, где «под небом Африки» завершилась судьба того, перед кем трепетала Европа. Этот мотив присутствует и в «Двух великанах» Лермонтова, и в «Иване Великом» Полежаева. Маршрут от Московского Кремля до острова св. Елены. Ср. со стихотворением Н. С. Соколова «Он» (1850), ставшим популярной песней («Кипел, горел пожар московский...»). Там Наполеон в сером сюртуке стоит «на высоте стены кремлевской», созерцает охватившее Москву «огненное море» и полон мрачных предчувствий — прозревает свое падение:

Ему мечтался остров дикий,
Он видел гибель впереди...

Лермонтовское и полежаевское стихотворения нашли свое место в антологиях лирики, особенно первое, чей текст оказался прямо-таки хрестоматийным. Но известность пришла позже. А что в 30-е годы? Любопытно заметить, что образ русского великана в золотой шапке, которую с него никому не удастся сбить (Наполеон — «хватать вражеский венец», да не тут-то было!), созвучен патристическому пассажу в стихотворении Ф. Н. Глинки «Москва» (1840):

Кто собьет златую шапку
У Ивана-звонаря?..

Между тем ни Полежаев, ни Глинка не могли знать лермонтовских «Двух великанов», впервые опубликованных лишь через десять лет после написания и через год после смерти автора. Здесь же пока можно говорить о совпадениях или соответствиях, но не о воздействии Лермонтова на русскую поэзию.

Р. S. Популярнейшие стихотворения Лермонтова нередко подвергались всякого рода комическим и сатирическим переработкам (самый классический пример — некрасовская «Колыбельная песня» в подражание лермонтовской «Казачьей колыбельной песне»). Нам не удалось ни припомнить, ни обнаружить подобного комического обыгрывания «Двух великанов». Но вот что сообщает А. П. Квятковский в «Поэтическом словаре» (М., 1965. С. 333). Известным пушкиноведом Н. О. Лернером был составлен центон — четверостишие, строки которого принадлежат четырем поэтам:

Лысый с белой бородою	(И. С. Никитин)
Старый русский великан	(М. Ю. Лермонтов)
С догарессой молодою	(А. С. Пушкин)
Упадает на диван.	(Н. А. Некрасов)

Добавим от себя, что этот забавный центон был бы безукоризненным по исполнению, если бы не «отредактированность» пушкинского стиха: у Пушкина «С догарессой молодой». Зато все остальное — в порядке. В том числе и «Старый русский великан».



**«Но мы живы,
покамест есть
прощенье и шрифт»**

Взгляд на мир
Иосифа Бродского

А. А. ШУНЕЙКО,
кандидат филологических наук

В заглавие вынесена строка из стихотворения Иосифа Бродского «Строфы». В ней заключено представление поэта о неразрывной связи человечества — *мы*, категорий бытия — *живы*, нравственных категорий — *прощенье* и языка — *шрифт*. Такое представление предполагает, что нравственные и бытийные категории, то есть добро, зло, жизнь, смерть, определяются в нашем мире языком. Для Бродского язык (в первую очередь, русский язык в его поэтической функции) — исходная точка, из которой вырастают и мир, и нравственность, и сама жизнь. Его поэзия, эссе и Нобелевская лекция свидетельствуют о важности этого тезиса, понять который можно, лишь выяснив, как поэт воспринимает мир, какая картина мира воплощена в его творчестве.

Картину мира Бродского правильнее было бы назвать «картиной языка». Такое обозначение фиксирует не соотношение языка и мира в традиционном, привычном для нас понимании, а непосредственно

указывает на важную особенность мировосприятия Бродского, предполагающую, что соотношение «язык — часть мира» заменяется у него на соотношение «мир — часть языка». То есть язык выступает как более широкая и всеобъемлющая субстанция, для которой окружающий мир — лишь одно из ее проявлений.

Язык живет на фоне сложного взаимодействия «звучания» и «тишины» (молчания, безголосья), которые воспринимаются поэтом не как взаимоисключающие, но как равноправные (равноприсутствующие) явления, обладающие набором приобретенных в контексте стихотворений одинаковых характеристик. Появление звучания не уничтожает тишину, они могут сосуществовать в одном пространственно-временном промежутке: «Звуки рояля в часы обеденного перерыва./Тишина уснувшего переулочка/обрастает бемолью, как чешую рыба...» (здесь и далее цитаты из стихотворений Иосифа Бродского приводятся по авторским сборникам «Урания», 1987 и «Конец прекрасной эпохи», 1977, выходившим в Ардис/Анн Арбер). Тишина обладает характеристиками, присущими звучанию: «Веко подергивается. Из орта/вырывается тишина», «Скрипичные грифы гондол покачиваются, издавая/вразнобой тишину». Звучание и тишина могут приобретать и характеристики физически зримых предметов: «Ввезенная, сваленная как попало/тишина. Растущая, как опара,/пустота», «Но простая лиса, перегрызая горло,/не разбирает, где кровь, где тенор».

Речь у Бродского — только один из наполняющих звучание компонентов, а с другой стороны — самым разнообразным звучащим объектам приписываются качества и свойства языка и в устной речи: «вода, наставница красноречья», «речитатив व्यюги», «кричит ворона картавым голосом патриота», «Листва/их научит шуметь/голосом большинства», «Взбаламутивший море/ветер рвется как ругань с расквашенных губ» и т. п. Эта особенность звучания распространяется и на иные случаи соотношения «язык — реальность».

Фон наполнен звучанием окружающего мира и «звучанием тишины», которая не менее разнообразна, чем звуки шуршаний, всплесков, голосов людей и животных. Используя предложенное самим Бродским при анализе поэзии Анны Ахматовой противопоставление «гула новой эры» и «гула вечности» (Бродский Иосиф. Скорбная муза//Юность. 1989. № 6), можно взаимодействие звучания и тишины назвать гулом вечности. В этом гуле вечности звучание и тишина потеряли обычные характеристики и получили новые, воплотившись в подобие сосуда, наполненного двумя разноцветными несмешивающимися жидкостями, соприкосновения которых дают самые разнообразные смысловые комбинации.

Равноправное взаимодействие тишины и звучания может быть воспринято как точная копия процесса говорения (речевой деятельности), так как строится по его законам. Речеведение предполагает

взаимозамены и чередования материи языка (слов) и пауз — *звучания* и *тишины*, при их, в конечном счете, равнозначной важности. Паузы и слова могут нести одинаковые объемы информации, а также превосходить друг друга количеством сообщенного (Ср. в этой связи, например, оценку речи одного персонажа другим в «Посвящается Ялте»: «Речь состояла более из пауз...»). При этом *звучание* и *паузы* расположены так, что одно не может уничтожить другого: последующий отрывок звучащей информации не уничтожает паузу, отделяющую его от предыдущего и не наполняет ее звуком. *Звучание* и *паузы* не могут существовать друг без друга и друг в отрыве от друга: нельзя себе представить речь без пауз или информативные паузы вне окружения речи.

Аналогом отношений *звучания* и *тишины* в более широком контексте является чередование *жизни*, устойчиво ассоциирующейся со *звучанием* (ср., например, у Иннокентия Анненского: «Я жизни не боюсь, своим бодрящим шумом...»), и *смерти*, ассоциирующейся с *тишиной* (как, например, у Ольги Форш в романе «Сумасшедший корабль» в описании умершего Александра Блока: «Узкие ноздри и незакрытый рот, разорванные уже неслышными криками»).

За взаимодействием *звучания* и *тишины* стоит ряд взаимосвязанных важных категорий: *звучание* — *звучащая материя языка* — *жизнь* — *временное* — *переменное*; *тишина* — *паузы в акте речеведения* — *смерть* — *вневременное* — *постоянное*. Гул вечности, его можно называть также *фоном бытия* — как задник в театре, постоянно сопровождает мировое действо, воспроизводит механизмы активного проявления языка, строится по его законам. На его фоне разворачивается и сам язык уже в привычном для нас воплощении, но с индивидуальными особенностями авторского понимания, проявляясь в *звук*, *букве*, *слове* и т. д.

Звук взаимодействует с организующими гул вечности стихиями. Он не обязательно превращает *тишину* в *звучание* («так молчанье в себя вбирает всю скорость звука»), а как бы погружается в ту или иную стихию, свободно путешествует из *тишины* в *звучание*, не изменяя их качества. Объединяясь со *звучанием*, *звук* может быть противопоставлен *тишине*, но не самостоятельно, а в составе ряда: *звук* — *свет* — *тишина* — *темнота* — *слово* — *эхо* — *речь*. Этот эффект присутствует, например, в стихотворении Бродского «Полдень в комнате»: «Звук уступает свету не в/скорости, но в в/ещах,/внятных даже окаменев,/обветшав, обнищав./Оба преломлены, искажены,/сокращены: сперва — /до потёмок, до тишины;/превращены в слова./Можно вспомнить закат в окне,/либо — мольбу, отказ./Оба счастливы только вне/тела. Вдали от нас».

Для Бродского важно противопоставление *звука*, соединенного с

порождающим его объектом, и *звука*, потерявшего эту связь: «Взятый вне мяса, звук/не изнашивается в результате тренья/о разреженный воздух, но, близорук, из двух/зол выбирает обычно большее: повторенье/некогда сказанного». Во втором понимании *звук* — проявление *звучания гула вечности*. Среди многообразных отражений *звука* особенно интересно *жужжание* пчелы и мухи. Этот звук непосредственно связан с *голосом Музы* (стихотворение «Му-ха»).

Поэт часто сравнивает предметы мира с буквами, знаками препинания, и это еще раз подчеркивает, что мир — только совокупность проявлений языковых форм: стул у Бродского «На мягкий в профиль смахивает знак», мысли похожи на «клинопись», это у него «Двуногое — впрочем, любая тварь/(ящерица, нетопырь) — /прячет в своих чертах букварь,/клеточную цифирь», а «Каждый парус выглядит в профиль, как знак вопроса./И пространство хранит ответ» и «Из костелов бредут, хороня запятые/свечек в скобках ладоней».

Традиционное понимание соотношения *звуков* и *букв* (алфавита) перечеркнуто в поэтике Бродского тем, что *звук* у него находится скорее в пространстве (лишенном временной координаты), а *буква* существует во времени (в первую очередь — прошлом и будущем). Показательна в этой связи V часть его «Квинтета»: «Теперь представим себе абсолютную пустоту./Место без времени./Собственно воздух», где автор слышит «жжу це-це будущего», то есть слышит некий *звук*, но не видит *букв*. Бродский называет это — «записки натуралиста», посредством переноса слова с одной строки на другую, превращает «записки» в «за-/писки», что подчеркивает господство *звука* во вневременном пространстве и позволяет воспринимать *графику* как лежащую — в самом широком смысле — «за» *звуком* — *писком* — *жужжанием*.

Иная картина возникает в XVII и XVIII частях «Пяльца Маттёи», где поэт, подчеркивая ценностную и сущностную противопоставленность *времени* и *пространства* («Покуда Время/не поглупеет как Пространство/(что вряд ли)...)» относит *графику*, воспринимаемую как воплощенное бытие *словесности*, только к первой координате: «И даже/сорвись все звезды с небосвода,/исчезни местность,/все ж не оставлена свобода,/чья дочь — словесность./Она, пока есть в горле влага,/не без приюта./Скрипи, перо. Черней, бумага./Лети, минута».

Графика, в отличие от мимолетного *звука*, связанного с телом, постоянна, что подчеркивается финалом последнего из «Стихов о зимней кампании 1980-го года», в котором безрадостная возможная перспектива безумств человечества (в данном случае — войны в

Афганистане) рисуется как мертвая белизна, где «Если что-то чернеет, то только буквы./Как следы уцелевшего чудом зайца».

Соотношение *звук — буква* включается в ряды соотношений иных единиц, подчеркивает двухчастную природу *картины языка*. Оно прямо связано с соотношением *время — пространство* (очень важным для поэта и нетривиально решаемым: «Время есть мясо немой Вселенной»), с соотношением *звучание — тишина*, с соотношением *звук — луч* (слышимое — видимое): «О своем — и о любом — грядущем/я узнал у буквы, у черной краски./Так задремывают в обнимку/с „лейкой“, чтоб, преломляя в линзе/сны, себя опознать по снимку,/очнувшись в более длинной жизни». В целостной противопоставленности: *звучание, звук, пространство — время, графика, тишина, луч*, равнозначная важность всех ее компонентов создается не благодаря тому, что есть какая-то главная пара, вокруг которой объединяются все остальные, но благодаря тому, что все члены оппозиции в смысловом отношении связаны.

Слово в поэтике Бродского воспринимается в основном как проявление реально звучащей или графически зафиксированной речи: «Там была бы Библиотека, и в залах ее пустых/я листал бы тома с таким количеством запятых,/как количество скверных слов в ежедневной речи,/не прорвавшихся в прозу. Ни, тем более, в стих», «Вычитая из меньшего большее, из человека — Время,/получаешь в остатке слова, выделяющиеся на белом/фоне отчетливей, чем удастся телом/это сделать при жизни, даже сказав „лови!“». Но и здесь есть определенные особенности, связанные с противопоставлением *слова — цифры*, имеющим давнюю поэтическую традицию: «Их — переход от слов/к цифрам не удивит./Глаз переводит, моргнув, число в/несовершенный вид», «В цифрах есть нечто, чего в словах,/даже крикнув их, нет», «В будущем цифры рассеют мрак./Цифры не умира./Только меняют порядок, как/телефонные номера./Сонм их, вечным пером привит/к речи, расширит рот,/удлинит собой алфавит;/либо наоборот». Восприятие *цифры* обнаруживает некоторые черты архаической традиции (см.: Топоров В. Н. О числовых моделях в архаичных текстах: Структура текста. М., 1980).

Поэт не отрицает ценности *слова* («Сколько глаза ни колешь/тьмой — расчетом благим,/повторимо всего лишь/слово: словом другим»), но он не воспринимает его как единицу поэтического языка: «...искусство поэзии требует слов», а требует их извне, чтобы потом, преобразив в иную единицу, уже ее использовать внутри себя. *Слово* остается атрибутом окружающего поэзию мира. И этим оно противопоставлено *строке*.

Строка для Бродского — основная единица поэтического языка: «Очень возможно, что эти строки/сократят ожидания сроки...», «дан-

ные строки, почти рыдая,/соединяю», «И питомец Лоррена, согнув колено,/спихивая как за борт буквы в конце строки,/тщится рассудок предохранить от крена/выпитому вопреки», «Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера». Примеры воспроизводят характеристики *строки* как минимальной единицы поэтического языка, точки приложения творческих импульсов автора. Соединяясь с подобными, она оказывает существенное воздействие на окружающий мир.

При создании поэтического текста *строке* — главному носителю эстетического содержания — помогают *графика, рифма, историко-литературные аналогии*. У Бродского *графика* не просто фиксирует *строку*, но самим фактом ее запечатления добавляет важные историко-культурные и содержательные смыслы. Для него важна не *графика* вообще, а именно *кириллица*, противопоставленная *латинице*: «и без костей язык, до внятных звуков лаком,/судьбу благодарит кириллициным знаком», «Прочный, чернильный союз,/кружева, вензеля,/помесь литеры римской с кириллицей:/цели со средством <...>», «Тем верней удивит/обитателей завтра/разведенная здесь/сильных чувств динозавра/и кириллицы смесь». *Рифма* выступает как связующий элемент — «рифмолента», как обоснование выбора слова: «Генерал! Я взял вас для рифмы к слову „умирал“...» Историко-культурные аналогии и размышления над жанром позволяют органически включить строки в контекст предшествующих достижений поэтического языка: «С той дурной карусели,/что воспел Гесиод,/сходят не там, где сели,/но где ночь застанет», «Было ли сказано слово? И если да,—/на каком языке? Был ли мальчик?»

Некоторые критики отрицательно оценивают так называемые «длинноты» в поэзии Бродского, обходя вниманием его собственные высказывания по этому поводу. Так, в эссе «О Марине Цветаевой» (Новый мир. 1991. № 2) Бродский пишет об «инстинктивной» в поэте лаконичности. А в его «Мухе» читаем: «...среди этой сдачи/с существования, приют нежесткий/твоею тезкой/неполною, по кличке Муза,/уже готовится. Отсюда, муха,/длинноты эти, эта как бы свита/букв, алфавита». Бродский не скрывает того, что длинноты у него есть, демонстрируя традиционное для настоящего поэта понимание сложности достижения эстетического идеала. А кому, как ни поэту, знать, сколь высок этот идеал, воплощенный в *голосе Музы*.

«...Кто-кто, а поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он — средством языка к продолжению своего существования» — эти строки из Нобелевской лекции Иосифа Бродского.

Таким образом, *гул вечности* строится по законам *языка*, на его фоне развивается *язык* в конкретном понимании, оба эти феномена, воплощаясь в «голосе *Музы*», осуществляют «*диктат языка*»; результат *диктата* — состоящий из *строк* новый язык, поэтический, который вливает новые энергетические импульсы в *гул вечности* и язык. Круг замкнут. И как закрытая система должен стремиться к уменьшению своих содержательных и творческих потенциалов.

Но этого не происходит. Потому что такая система (модель мира) имеет два источника, которые, подключаясь к ней, пополняют ее все новой эстетической энергией: *читатель* и *поэт*. Которые — как *тишина* и *звучание*, *смерть* и *жизнь*, *темнота* и *свет*, *пауза* и *звук*, *слово* и *строка* — не могут существовать друг без друга.

Комсомольск-на-Амуре

Уважаемые подписчики!

Не забудьте вовремя продлить подписку на «Русскую речь» на 2-ю половину 1994 года.



Слова, вставшие на крыло

Афоризмы Булата Окуджавы

*Р. Р. ЧАЙКОВСКИЙ,
кандидат филологических наук*

Даже самый поверхностный анализ современной художественной литературы показывает, что один из наиболее цитируемых сегодня авторов — Булат Окуджава. Это, впрочем, еще почти двадцать лет назад подметил драматург Александр Володин: «Подобно тому, как пьесу Грибоедова в прошлом веке народ разобрал на пословицы, песни Окуджавы мы разбираем на поэтические метафоры нашей нынешней жизни». Не только на метафоры жизни, скажем мы теперь, но и на крылатые слова, которые разлетелись по русскоязычному миру и обрели новое, самостоятельное существование. В моей картотеке, сложившейся путем простой фиксации встретившихся в печатных изданиях строк из произведений Булата Окуджавы (без специального филологического поиска) — более трехсот неоднократно использованных фраз, большинство из которых с полным основанием можно назвать крылатыми. Однако, как ни странно, в новейших словарях крылатых слов поэт в качестве автора языковых афоризмов не представлен вовсе. Но разве не на слуху у всех такие его строки: «Мы за ценой не постоим», «И, значит, нам нужна одна победа», «Бери шинель, пошли домой», «Возьмемся за руки, друзья», «До свидания, мальчики», «Надежды маленький оркестрик», «Вы слышите, грохочут сапоги», «Давайте восклицать...»? Разве не известны они миллионам?

Оставим риторические вопросы. Крылатыми фразы становятся не потому, что попадают в словари («иному слову тесно в слова-

ре», — когда-то прозорливо написал сам Булат Окуджавы). Они крылаты, потому что перелетают от одной человеческой души к другой, от сердца к сердцу. Именно таковы проникновенные слова из песен поэта, ими широко пользуются и в газетной периодике, и в солидных книжных изданиях, и в быту, взрослые и дети... Вспомним эпиграф газеты «Мегаполис — экспресс», еженедельно воспроизводимый тысячными тиражами: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке», название известной повести Б. Балтера «До свидания, мальчики». А «Давайте говорить друг другу комплименты» — кто не знает этой фразы? И ответ пятилетнего мальчика на вопрос, как погуляли с бабушкой (в метельный день): «Да на пороге едва помачали». Это ли не свидетельство крылатости строк Булата Окуджавы? Очевидно: перед нами необычный литературный, социокультурный и лингвистический феномен, в природе которого еще предстоит разобраться. Задачи же этой небольшой статьи весьма скромные. Хотелось бы познакомить читателя с некоторыми наблюдениями об использовании строк из произведений поэта в самых разнообразных контекстах и высказать несколько предварительных предположений о характере этого явления.

Основные источники языковых афоризмов Булата Окуджавы — строчки из его песен, причем преимущественно из песен антивоенных: «Мы за ценой не постоим», «С войной покончили мы счеты», «Бери шинель, пошли домой» и т. д. Другая часть заимствована из песен, в которых наиболее полно выражен своеобразный нравственный императив поэта. Это типичные для поэтики Булата Окуджавы моральные максимы: «Не запирайте вашу дверь», «Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется», «Давайте говорить друг другу комплименты», «Не оставляйте стараний, маэстро», «Возьмемся за руки, друзья», «Каждый пишет, как он дышит» и др. Примечательно, что многие из этих фраз — предложения в повелительном наклонении, то есть призывы, просьбы, заклинания. Еще одна группа представляет собой фразы из песенок-притч, баллад, посвященных близким их автору понятиям: «Ах, Арбат, мой Арбат...», «А шарик летит...», «Ваше благородие, госпожа Удача», «На фоне Пушкина», «Надежды маленький оркестрик». Становится крылатым (в моей картотеке зафиксировано около десятка случаев использования этого выражения) название прозаического произведения поэта, а именно романа «Путешествие дилетантов».

Окуджаву «разбирают» в основном на заголовки и цитаты в тексте — как со ссылками, так и без ссылок на автора. Естественно, что вынос поэтической строки в заголовки намного весомее ее использования в качестве цитаты. Ведь заголовок — квинтэссенция текста. И такая строка всегда приобретает дополнительную смысловую и поэтическую силу, она значительно семантически обогащает-

ся, и ее, условно говоря, социально-лингвистическая значимость резко возрастает. Как писал А. И. Солженицын, «верно найденное название книги, даже рассказа — никак не случайно, оно есть — часть души и сути, оно сроднено, и сменить название — уже значит ранить вещь» (Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни//Новый мир. 1991. № 6. С. 61). (В этой статье речь идет только о фразах-заголовках, фразах-названиях — от названий книг и фильмов до заголовков маленьких заметок в газетах.)

Заголовок книги — ее визитная карточка. И, называя свою книгу известной в народе строкой поэта, ее автор, помимо всего прочего, устанавливает некую внутреннюю связь произведения с идеей, выраженной в этой поэтической строке. Примерами могут служить названия романа Л. Юргенсон «Солдат бумажный», уже упоминавшейся повести Б. Балтера «До свидания, мальчики», книги И. В. Денисовой «Пока Земля еще вертится» (М., 1991), повести Г. Киселева «Возьмемся за руки, друзья» (Ташкент, 1980), известного рассказа Г. Владимирова «Не обращайтесь внимания, маэстро» (Сельская молодежь. 1989. № 7), воспоминаний командарма М. И. Казакова «А мы с тобой, брат, из пехоты» (Рига, 1979), книги Т. Успенской «Не запирайте вашу дверь» (М., 1987), кинофильма «А шарик летит», телефильма «Ваше величество женщина» и многих других. Кроме того, вынося на обложку книги популярную строчку, автор, вольно или невольно, помещает свое произведение в силовое поле как этой стихотворной фразы, так и всей поэтики Булата Окуджавы, занимающего в современном литературном процессе заметное место.

Привлекательность крылатых фраз поэта в их несомненной смысловой насыщенности, в приращении смысла, в особом «окуджавском» магнетизме. Притягивает их оригинальность, их афористический блеск. Они стилистически ярко выражены, экспрессивны и потому приметны. Эти фразы всегда на устах, они легко воспринимаются, их без труда запоминаешь. К тому же они выступают своеобразными символами — знаками включенности автора в определенную социальную среду, в определенный социокультурный и идеологический контекст. «Присвоение» конкретной чужой строки свидетельствует о желании автора установить с читателем те, а не иные отношения. То есть, заголовком из Окуджавы уже как бы моделируется нужное восприятие самой вещи. Языковой афоризм Булата Окуджавы в заглавии произведения — надежный посредник между автором книги (или статьи, или...) и будущим читателем.

Пожалуй, любопытна история появления таких заголовков. Не располагая достоверными сведениями о генезисе этого явления, все же предположим, что строчки из Окуджавы всплывают в памяти тех, кому его поэзия близка и дорога, то есть у тех, в частности, кому она

и была адресована. И не случайно в наши дни строки поэта так часто использует пресса демократического направления.

Порой популярные строки претерпевают сложные семантические и структурные видоизменения, а в результате появляются на свет необычные, глубокие по смыслу выражения. Так, известная фраза «не надо придавать значения злословью» была переделана в следующий семантически осложненный заголовок: «Не надо предавать, или Значение злословья» (Театр. 1988. № 9. С. 121). А словосочетание «госпожа удача» потянуло за собой и «госпожу словесность», и «госпожу политику», и «госпожу случайность», и «госпожу культуру», и «госпожу теорию»...

Фактически каждое крылатое выражение Булата Окуджавы, вошедшее в русскую речь, уже имеет многочисленные варианты и модификации.

Уже говорилось о более чем трехстах крылатых выражениях Булата Окуджавы, встретившихся в различных изданиях. Здесь приведена лишь малая толика этого богатства. Но даже эта малость убедительно свидетельствует об органичной «вжитости» поэзии Булата Окуджавы в российскую культуру, в русскую словесность, в наш повседневный речевой обиход. И прав был И. Г. Гердер, написавший почти двести лет назад: «Поэт должен оставаться верным своей почве, если он хочет владеть выражением: здесь может он возвращать великие слова, ибо он знает свою страну; здесь может он срывать цветы, ибо ему принадлежит эта земля; здесь может он копать до самых глубин в поисках золота...» Золото поэзии Булата Окуджавы перед нами. Будем же и дальше благодарно пользоваться им.

Магадан



Константин Бальмонт

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867—1942) — первый из поэтов-символистов, обретший всероссийскую славу. Десятилетие 1895—1905 годов — время безусловного первенства Бальмонта на поэтическом русском Парнасе. «Другие поэты,— писал тогда Валерий Брюсов,— или покорно следовали за ним, или, с большими усилиями, отстаивали свою самостоятельность от его подавляющего влияния». Популярность Бальмонта была огромна. Он собирал на свои концерты и вечера толпы восторженных слушателей, его певучие строфы твердили многочисленные поклонники. Сам Бальмонт говорил, что нет в России города, где у него не было бы друзей и ждущих его душ. «О Бальмонте писали сотни исследований, его книги ежегодно переиздавались, на его лекции нельзя было достать билета,— рассказывал Илья Эренбург в своих мемуарах.— Стоило поэту показаться в театре или на улице, как его окружали неистовые поклонники». Выходя на эстраду, Бальмонт, с рыжими локонами волос, спадавшими на плечи, с цветком орхидеи в петлице фрака, нередко эпатировал публику экстравагантностями; в этом отношении он как бы был предшественником Северянина и футуристов, однако тут проглядывала, помимо избалованности успехом, и истинная натура поэта — на редкость открытая, порывистая, почти детская.

Начальные книги стихов Бальмонта — изданный в Ярославле и потом уничтоженный автором «Сборник стихотворений» (1890), затем книга «Под северным небом» (1894), «В безбрежности» (1895), «Тишина» (1898) в значительной мере несли отзвуки печальной, бескрылой русской поэзии восьмидесятых—девяностых годов, но постепенно в них вызревало истинно бальмонтовское ядро: стихийное жизнелюбие, восторженное приятие жизни, культ индивидуальности, своего «я» — и редкостная напевность, музыкальность. Именно музыкальность поражала прежде всего в его стихах. Поэт как бы заново показывал читателю красоту и самоценность слова, его завораживающую силу, его, по выражению Иннокентия Анненского, музыкальную потенцию. Новшество в постро-

ении строфы, открытие новых возможностей ритмики, небывалое богатство аллитераций прямо-таки приковывало внимание любителей поэзии к стихам Бальмонта. В 1907 году он горделиво заявлял: «Имею спокойную убежденность, что до меня, в целом, не умели в России писать звучных стихов».

В начале двадцатого века выходят главные книги Бальмонта: «Горящие здания» (1900), «Будем как солнце» (1902), «Только любовь» (1903), «Литургия красоты» (1905). В них поэт выразил предчувствия будущих грозных событий; стихи исполнены буйных сил, иступленной радости. Их пронизывала «жажда безгранного, безбрежного». «Я хочу горящих зданий, я хочу кричащих бурь!», — писал Бальмонт. Устремление к «свету», «огню», «солнцу», гимны стихийным силам природы, образ «вечно свободного» альбатроса — все эти мотивы находили отклик среди радикально настроенных читателей. Это был расцвет таланта Бальмонта, наиболее сильное излучение его романтической светлой мечты, давшее право Александру Блоку сказать: «Когда слушаешь Бальмонта — всегда слушаешь весну».

Однако с годами у Бальмонта наметился творческий спад: он оказался в плену своей поэтической системы, стал повторяться. Внутренне поэт как бы не развивался, не шел дальше найденных уже путей, в его стихи все более проникали риторика, ложные красоты, навязчивое брацание рифмами — все то, что было названо «бальмонтовщиной». К 1912 году Брюсов и Блок пели ему отходную, считая, что художническая миссия его завершена. Однако и тогда, по справедливому замечанию Николая Гумилева, вдруг он печатал «стихотворение, и не просто прекрасное, а изумительное, которое неделями звучит в ушах — и в театре, и на извозчике, и вечером перед сном». Силы поэта были далеко не исчерпаны — в период революции и особенно позднее, в двадцатых годах, Бальмонт создал немало ярких стихотворений и написал немало прекрасных страниц очерковой и художественной прозы: стихи его, освобождаясь от отвлеченностей и выпренности, стали человечнее, проще, ближе к грешной земле.

Крушение царизма в феврале 1917 года было воспринято Бальмонтом с восторгом. Однако Октябрьский переворот насторожил его и вызвал враждебную реакцию. Хотя внешне Бальмонт ведет себя лояльно, выступает на торжественных вечерах, печатает стихи о рабочих, внутренне он сокрушен, раздавлен. Трудности быта — холод и голод — ложились на него непомерным грузом. Жестокость, кровь, подавление личности, всеобщее разрушение претили его душе. Весной 1920 года Бальмонт попросил у наркома просвещения заграничную командировку и 25 июня вместе с женой Е. К. Цветковской и дочерью Миррой выехал из Москвы. Предполагалось, что поэт проведет за рубежом не больше одного-двух лет, но уже в марте 1921 года он порывает с Советской Россией и переходит на положение эмигранта.

Живя в Париже, с эмигрантской средой он не сошелся. Дружил только с А. И. Куприным. Постоянно нуждаясь, лето проводил в глухих, дешевых для жизни рыбацких селениях у океана — в Бретани, в Вандее. Совершил несколько поездок в славянские страны, в Литву, переводил фольклор этих стран. Помимо стихов написал немало очерков и рассказов, автобиографический роман «Под новым серпом». Господство мамоны и чистогана в Европе, дух мещанства, неумолимая урбанизация угнетали поэта. «Никто не читает ничего, — пишет он Е. А. Андреевой в 1927 году. — Здесь все интересуется спортом и автомобилями. Проклятое время, бессмысленное поколение, как я презираю его. Я чувствую себя приблизительно так же, как последний Перуанский владыка среди наглых испанских пришельцев».

Неизбывная тоска по родине — постоянный, главный мотив стихов, дум и писем Бальмонта времен эмиграции. О России, о любви к ней, — лучшие его стихотворения той поры. Он доживал свой век больным, лишившимся психического равновесия стариком, то в доме призерия для русских, содержавшимся Кузьминой-Караваевой — матерью Марией, то в дешевой меблированной квартирке в городке Нуази-ле-Гран под Парижем, где он в ненастном декабре 1942 года и скончался. Там же его тихо похоронили немногочисленные друзья — над Францией был тогда распростерт мрак немецко-фашистской оккупации. Советская пресса о смерти поэта не сообщила.

Круг творческих интересов Бальмонта был огромен. Крайне любознательный, он поглощал горы книг по различным дисциплинам, владел пятнадцатью—шестнадцатью языками, прекрасно знал искусство и поэзию всех стран мира. Писал постоянно и легко, почти как импровизатор. Весь — движение, он по-детски отдавался первому душевному порыву, был добр, отзывчив, чрезвычайно влюбчив. Был зачастую нерасчетлив, беспечен. Даже в последние дни, больной, походя бросал чудесные образы и прозрения, не попавшие ни в какие книги. Брюсов, подружившийся с Бальмонтом в 1894 году, писал в своей автобиографии: «Я был одним до встречи с Бальмонтом и стал другим после знакомства с ним».

«Да пошлет Судьба той стране, которая дала мне жизнь, много-травные луга, плодородные нивы, счастливых людей, правдивые дни, несчетные стада коров с тяжелым выменем, звонкие табуны коней, что всегда так красивы были в России». Это слова Бальмонта о родине, которую он уже не увидел и которой отдал весь жар своего сердца и таланта.

Н. В. Банников



Камыши

Полночной порою в болотной глуши
Чуть слышно, бесшумно, шуршат камыши.

О чем они шепчут? О чем говорят?
Зачем огоньки между ними горят?

Мелькают, мигают — и снова их нет.
И снова забрезжил блуждающий свет.

Полночной порой камыши шелестят.
В них жабы гнездятся, в них змеи свистят.

В болоте дрожит умирающий лик.
То месяц багряный печально возник.

И тиной запахло. И сырость ползет.
Трясина заманит, сожмет, засосет.

«Кого? Для чего?» — камыши говорят.
«Зачем огоньки между нами горят?»

Но месяц печальный безмолвно поник.
Не знает. Склоняет все ниже свой лик.

И вздох повторяя погибшей души,
Тоскливо, бесшумно, шуршат камыши.

* *
*

Я — изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты — предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.

Я — внезапный излом,
Я — играющий гром,
Я — прозрачный ручей,
Я — для всех и ничей.

Переплеск многопенный, разорванно-слитный,
Самоцветные камни земли самобытной,
Переключки лесные зеленого мая —
Все пойму, все возьму, у других отнимая.

Вечно юный, как сон.
Сильный тем, что влюблен
И в себя и в других,
Я — изысканный стих.

Я не знаю мудрости

Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих,
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.

Не кляните, мудрые. Что вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня.
Я ведь только облачко. Видите: плыву.
И зову мечтателей... Вас я не зову!

Безглагольность

Есть в русской природе усталая нежность,

Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали.

Приди на рассвете на склон косогора,—
Над зябкой рекою дымится прохлада,
Чернеет громада застывшего бора,
И сердцу так больно, и сердце не радо.

Недвижный камыш. Не трепещет осока.
Глубокая тишь. Безглагольность покоя.
Луга убегают далеко-далеко.
Во всем утомленье, глухое, немое.

Войди на закате, как в свежие волны,
В прохладную глушь деревенского сада,—
Деревья так сумрачно-странно-безмолвны,
И сердцу так грустно, и сердце не радо.

Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно больно.
И сердце простило, но сердце застыло,
И плачет, и плачет, и плачет невольно.

Альбатрос

Над пустыней ночью морей альбатрос одинокий,
Разрезая ударами крыльев соленый туман,
Любовался, как царством своим, этой бездной
широкой,
И, едва колыхаясь, качался под ним океан.

И порой омрачаясь, далеко, на небе холодном,
Одинокое плыла, одиноко горела луна.
О, блаженство быть сильным и гордым и вечно сво-
бодным!
Одиночество! Мир тебе! Море, покой, тишина!

Осень

Поспевает брусника,
Стали дни холоднее.
И от птичьего крика
В сердце только грустнее.

Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.

Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро осень проснется —
И заплачет спросонья.

Благовещение в Москве

Благовещение и свет,
Вербы забелели.
Или точно горя нет,
Право, в самом деле?

Благовестие и смех,
Закраснели почки.
И на улицах — у всех
Синие цветочки.

Сколько синеньких цветков,
Отнятых у снега.
Снова мир и свеж и нов,
И повсюду — нега.

Вижу старую Москву
В молодом уборе.
Я смеюсь, и я живу —
Солнце в каждом взоре.

От старинного Кремля
Звон плывет волною.
А во рвах живет земля
Молодой травой.

В чуть пробившейся траве
Сон весны и лета.
Благовещение в Москве —
Это праздник света!

Золотая рыбка

В замке был веселый бал,
Музыканты пели.

Ветерок в саду качал
Легкие качели.

В замке, в сладостном бреду,
Пела, пела скрипка.
А в саду была в пруду
Золотая рыбка.

И кружились под луной,
Точно вырезные,
Опьяненные весной
Бабочки ночные.

Пруд качал в себе звезду,
Гнулись травы гибко,
И мелькала там в пруду
Золотая рыбка.

Хоть не видели ее
Музыканты бала,
Но от рыбки, от нее,
Музыка звучала.

Чуть настанет тишина,
Золотая рыбка
Промелькнет, и вновь видна
Меж гостей улыбка.

Снова скрипка зазвучит,
Песня раздается.
И в сердцах любовь журчит,
И весна смеется.

Взор ко взору шепчет: «Жду!»
Так светло и зыбко.
Оттого что там в пруду —
Золотая рыбка.

Прощание с деревом

Я любил вознесенное сказками дерево,
На котором звенели всегда соловьи,
А под деревом раскинулось море посева,
И шумели колосья, и пели ручьи.

Я любил переклички, от ветки до ветки,
Легкокрылых, цветистых, играющих птиц.

Были древние горы ему однолетки,
И ровесницы степи, и пряжа зарниц.

Я любил в этом древе тот говор вершинный,
Что вещает пришествие близкой грозы,
И шуршанье листвы перекатно-лавиной,
И паденье заоблачной первой слезы.

Я любил в этом древе с ресницами Вия,
Между мхами, старинного лешего взор.
Это древо в веках называлось Россия,
И на ствол его — острый наточен топор.

сентябрь 1917

Придорожные травы

Спите, полумертвые увядшие цветы,
Так и не узнавшие расцвета красоты,
Близ путей заезженных возвращенные творцом,
Смятые невидящим тяжелым колесом.

В час, когда все празднуют рождение весны,
В час, когда сбываются несбыточные сны,
Всем дано безумствовать, лишь вам одним нельзя,
Возле вас раскинулась заклтая стезя.

Вот, полуизломаны, лежите вы в пыли,
Вы, что в небо дальнее светло глядеть могли,
Вы, что встретить счастье могли бы, как и все,
В женственной, в нетронутой, в девической красе.

Спите же, взглянувшие на страшный пыльный путь,
Вашим равным — царствовать, а вам — навек уснуть.
Богом обделенные на празднике мечты,
Спите, не видавшие расцвета красоты.



Эссеистика П. М. Бицилли *

Стилистические исследования Петра Михайловича Бицилли составляют, пожалуй, большую часть филологического наследия ученого. И это закономерно. Именно в первой половине XX века идея стилистики как центральной лингвистической науки активно обсуждалась за рубежом и в России. Труды представителей нефилологической школы начала XX века, Пражского лингвистического кружка, ОПОЯЗа исследовали прежде всего эстетическую функцию языка. Полагалось, что только в стилистике язык действительно предстает как нечто целостное и взаимосвязанное. Сам языковой акт как акт творческий приравнялся ими к искусству, к высшему из искусств — поэзии. И это заставляло по-новому соотносить, и даже отождествить, лингвистику с эстетикой. Одним из первых эти идеи выдвинул основатель нефилологии начала XX века, или эстетического идеализма, итальянский философ, литературовед, публицист Бенедетто Кроче (1866—1952), под влиянием работ которого сформировались и взгляды П. М. Бицилли на природу поэтического слова.

П. М. Бицилли, как и Б. Кроче, занимает прежде всего языковое воплощение личности писателя в тексте художественного произведения. Однако эстетический продукт творчества при этом всегда остается для него самоценным, и, раз созданный, уже живет своей, независимой от творца, жизнью: каждая стилистически значимая деталь сама может быть источником познания духовного мира писателя. Именно с такой позиции, в направлении от языка — через текст — к художнику П. М. Бицилли анализировал творчество Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Чехова, Бунина и Блока, Марселя

* Окончание. Начало см.: Русская речь. 1994. № 1.

Пруста и Андре Жида. «Поскольку дело идет о литературе, о произведениях художественного слова, первое, на что исследователь обязан обратить внимание, это словесный материал, каким пользуется писатель, это его стиль — лексика, строение фразы, и т. под.», — писал ученый в своей работе «К вопросу о внутренней форме романа Достоевского» (Годишник на Софийския университет. 1947—48. Т. 44. Ч. 6. С. 3).

Однако в стилистических исследованиях П. М. Бицилли четко обозначено его стремление объединить формальную и содержательную стороны художественного произведения. Он рассматривал форму и содержание как единое и неделимое целое, воплощенное в тексте. Поэтому и не принимал тот подход к изучению языка и стиля, который культивировали формалисты. В рецензии на книгу Виктора Шкловского «Материя и стиль в романе Льва Толстого „Война и мир“» (М., 1928) ученый писал: «Для формалистов все дело в „приемах“. От целого они отворачиваются. Но потому и „приемов“ они в сущности не в состоянии проанализировать как следует. Есть подготовка к анализу, самого анализа нет. Формалисты видят, что художественное произведение не то же самое, что „реальная жизнь“; но о том, что оно все-таки связано с жизнью и что только потому оно и может быть художественным произведением, — они и не догадываются» (Современные записки. Париж, 1930. № 42. С. 537). Рецензия подчас была для П. М. Бицилли именно той формой публичного выступления, в которой автор наиболее лаконично формулировал свои основные культурологические, философские, филологические воззрения. Рецензия, небольшое критическое эссе как бы аккумулировали в себе генеральные идеи целых монографий или серьезных научных статей.

В этом смысле представляемые читателям работы показательны для творчества П. М. Бицилли. Несмотря на принципиальную разницу объектов, выбранных автором для рецензирования: с одной стороны, художественные романы, с другой — научная книга, — обе критические заметки, в сущности, об одном и том же: о методе стилистического анализа художественного произведения.

Не случайно и соединение в одной публикации имен Достоевского и Набокова-Сирина. Для П. М. Бицилли это были художники, близкие во многом: в тематике, в эстетическом освоении мира, в конце концов, они были *конгениальны* друг другу.

В понятие конгениальности П. М. Бицилли вкладывал параллелизм творчества художников: одни и те же мотивы, идеи или даже стилистико-языковые особенности у разных писателей не всегда (и реже всего) связаны с влиянием одного творца слова на другого. Чаще всего, считал П. М. Бицилли, это обусловлено сходным художественно-эстетическим мышлением поэтов. В своей программной

работе «Возрождение Аллегории» (Современные записки. Париж, 1936. № 61. С. 191—204; см. также: Русская литература. Л., 1990. № 2) ученый демонстрирует поразительно схожие места, «родимые пятна», из произведений Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Достоевского и Сирина, объясняя их именно конгениальностью художников. (Кстати, таким образом он вводит Набокова в контекст русской классической литературы, вопреки традиционному мнению о его обособленности.)

Близость художественного мышления Набокова-Сирина и Достоевского для П. М. Бицилли бесспорна. Она — в лейтмотивах творчества обоих писателей: в смешении реального и нереального, в изображении не характеров, а персонифицированных чистых идей («циндиннаты» и носители сверхчеловеческих качеств Достоевского «никогда, нигде, ни в какую эпоху не могут быть реальными конкретными людьми»). У одного, по мнению ученого, это во многом определило «словесное виртуозничанье», у другого — полифонизм, многоголосие его романов. Аллегоричность творчества Набокова и Достоевского — тоже доказательство их конгениальности. Не символ, но аллегория, иносказание характерны для них (особенно для Набокова), поскольку «условие этого (аллегорического. — И. А.) искусства — некоторая отрешенность от жизни. „Иносказание“ связано с отношением к жизни как своего рода „инобытию“» («Возрождение Аллегории». С. 204).

В отличие от символа, который рождается в душе поэта вместе с идеей и неотделим от нее (невозможно пересказать своими словами стихотворение А. Блока или И. Анненского), аллегория, считает П. М. Бицилли, додумывается и присочиняется художником после. Таково было искусство Средневековья. Таково — искусство современности, которую, вслед за Н. А. Бердяевым, П. М. Бицилли называл Новым Средневековьем: «Аллегорическое искусство процветало в эпоху кризиса Средневековья, когда старая культура отмирала, а новая еще не пробилась на свет. В наши дни возобновляются старые художественные мотивы аллегорических повествований (<...>); и при чтении Сирина то и дело вспоминаются образы, излюбленные художниками исходящего Средневековья, апокалипсические всадники, пляшущий скелет. Тон, стиль — тот же самый, сочетание смешного и ужасного, „гротеск“. „Новым Средневековьем“ назвал нашу эпоху Бердяев, имея в виду присущие ей тенденции к восстановлению органического строя общества. Но история движется диалектически, через ряд вечно возникающих противоречий; новое возникает в результате распада старого — и с этой точки зрения столь же применимо к нашей эпохе название „осень средневековья“, как зовет один историк (Хуизинга. — И. А.) полосу, прожитую Европой в XIV—XV веках» (Там же. С. 204).

В небольшом вступительном комментарии трудно дать полную, исчерпывающую характеристику стилистических взглядов такого крупного ученого, как Петр Михайлович Бицилли, тем более, что они у него неразрывно связаны с идеями исторического и культурологического порядка. В заключение отметим только еще одну немаловажную деталь: соседство рецензий П. М. Бицилли на романы Сирина-Набокова (русского эмигранта) и на исследование М. М. Бахтина («советского» ученого) закономерно. «Современные записки» стали для него тем журналом, через который он познакомил читателей с книгами, выходившими как в Русском Зарубежье, так и непосредственно в метрополии: в СССР. Поэтому отклики П. М. Бицилли на труды М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, В. М. Жирмунского, В. Б. Шкловского и др. представляют несомненный интерес не только как часть наследия выдающегося ученого: они во многом демонстрируют неразрывную связь и единство всей русской культуры XX века.

В публикации сохранены особенности авторской пунктуации и орфографии.

И. В. Анненкова

П. М. Бицилли

М. М. БАХТИН. Проблемы творчества Достоевского. Л., 1929

Вот главные положения Бахтина: роман Достоевского — особая, совершенно новая категория художественного слова. Это — не роман в общепринятом значении слова, роман социально-психологический, в котором все объективировано, все представлено под углом зрения автора; это — и не «роман-трагедия», как его назвал Вяч. Иванов, ибо в драматическом произведении все подчинено единству авторского стиля. Достоевский стремится к наибольшей возможной конкретизации своих героев, а это значит, что они у него не объекты авторского восприятия, как у всех вообще романистов, но субъекты — в полном смысле этого слова. * Романист обычно помещает сам своих героев в своем мире; Д-ский же отстраняет себя:

* Прекрасным комментарием к этому положению может послужить статья Д. Чижевского: К проблеме Двойника в Сборн.: О Достоевском под ред. А. Л. Бема (Прага, 1929). — *прим. автора.*

в его романах мир показан с точки зрения каждого из героев; сколько действующих лиц — столько и миров и столько же стилей. Всякий роман «монологичен» или «гомофоничен», все подчинено одному голосу — автора; роман Д-ского «полифоничен». У Д-ского никогда не звучит один только голос, даже в его многочисленных монологах и исповедях. Когда «человек из Подполья» или муж «Кроткой» говорят сами с собою, мы явственно слышим два голоса: говорящего и его воображаемого собеседника, — хотя бы это было другое «я». Когда беседуют двое, многоголосность сразу возрастает, ибо каждый говорящий прислушивается ко «второму» голосу своего собеседника, к тому, который без слов угадывается за произносимыми словами. Многостильность и многопланность романов Д-ского были подмечены еще раньше. Обычно это ставится в связь с диалектичностью мышления Д-ского. Но в художественном отношении диалектики в романах Д-ского нет. Диалектика предполагает становление, развитие во времени. Достоевский же воспринимает мир, так сказать, вне и без времени, — только в пространстве. У него все сразу дано с самого начала. Поэтому — опять-таки с чисто художественной точки зрения — у него не может быть соподчинения различных планов и стилей, которые соответствуют различным диалектическим моментам одной Идеи: в действительной жизни моменты Идеи раскрываются в реальном процессе становления во времени; вне-временное изображение жизни тем самым и а-диалектично. В чем же, в таком случае, состоит художественное единство романов Д-ского? Бахтин сопоставляет творчество Д-ского с творчеством Данте: только у Данте есть подобное же богатство «голосов». Замечу, что Бенедетто Кроче отрицает поэтическое единство Божественной Комедии. Согласно Кроче (*La Poesia di Dante*), «поэтичны» в Комедии только отдельные места, не — целое. Общая идея Комедии не получила у Данте своего символического воплощения. То единство плана Комедии, которым принято восхищаться, лежит вне поэзии. Комедия в целом не символична, но аллегорична. Аллегория, в отличие от символа, не рождается вместе с идеей, но присочиняется к ней. Не утверждает ли Бахтин того же самого о романах Д-ского? Выдержанность принципа многоголосности сама по себе еще не создает художественного единства философского романа, каков роман Д-ского. Связаны — или нет — художественные элементы Братьев Карамазовых, Бесов, Идиота с философией Д-ского необходимой внутренней связью? Родились — или нет — эти романы вместе с этой философией в едином творческом акте? Вот вопрос, к которому подводит вплотную замечательное по тонкости анализа исследование Бахтина, основанное притом на учете всего, что было доселе сделано для изучения Д-ского, — и на который оно ответа не дает. Работа над разрешением этого

вопроса должна будет исходить из положений, которые, кажется мне, прочно закреплены исследованием Бахтина. В каком направлении надлежит двигаться,— поясню примером. Нет сомнения, что философия Ивана Карамазова не может в нашем сознании быть отделена от легенды о Великом Инквизиторе. «Переложенная» на другие слова, она тем самым перестает быть «той же самой» философией (у Бахтина великолепно выяснено стремление Д-ского к конкретизации идеи, его борьба с кантианским формализмом): нет идей «вообще», всякая идея звучит по-иному и имеет иной смысл (в полном значении этого слова) в зависимости от того, кем она высказана. Но это еще не все. Выделим «голос» Ивана Карамазова из хора других «голосов», звучащих в Братьях Карамазовых,— и он сам уже будет звучать иначе. Этот голос требует звучания всех прочих голосов. Что — в художественном плане этому соответствует? Почему мы не можем представить себе Ивана Карамазова без Дмитрия, без Алеши, без Федора Павловича, без Смердякова и т. д.? Как и почему из множества голосов получается созвучие, как и почему из соединения самых разнообразных стилей все же возникает какой-то общий стиль — вот к чему сводится эстетическая проблема, стоящая перед исследователем творчества Достоевского. У самого же Бахтина находим и ключ к разрешению ее — в его замечании о «вне-временном» восприятии мира у Д-ского. Но это восприятие не менее «реально», нежели наше «нормальное». Это — восприятие жизни во сне. А. Л. Бем * показал, что действие «Хозяйки»¹ не что иное, как «драматизованный бред». То же самое — такова очередная задача эстетического исследования творчества Д-ского — следовало бы показать и для всех прочих его произведений.

Примечания

Эта работа П. М. Бицилли впервые была напечатана в «Современных записках» за 1930 год (№ 42. С. 538—540).

1. «Хозяйка» — небольшая повесть Ф. М. Достоевского. Писатель работал над ней осенью 1846 года и зимой — осенью 1847 года. Впервые повесть была напечатана в журнале «Отечественные записки» за 1847 год. Полное название статьи А. Л. Бема, на которую выше ссылается П. М. Бицилли, «Драматизация бреда. („Хозяйка“ Достоевского)». А. Л. Бем считал эту повесть, как и рассказ «Двойник», незаслуженно забытой и недооцененной критиками. По его мнению, именно в этих ранних произведениях Ф. М. Достоевского — ключ к пониманию всего творчества писателя.

* См. его статью «Драматизация бреда» в упомянутом выше сборнике.— *прим. автора.*

В. СИРИН. «Приглашение на казнь».
— Его же. «Соглядатай». Париж, 1938¹

Когда перечитываешь у писателя сразу то, что раньше приходилось читать с большими перерывами, легче подметить кое-какие постоянно встречающиеся у него стилистические особенности, а тем самым приблизиться к уразумению его руководящей идеи — в полном смысле этого слова, т. е. его видения мира и жизни — поскольку у настоящего писателя «форма» и «содержание» — одно и то же. Одна из таких черт у Сирина это — своего рода «каламбур», игра сходно звучащими словами. «... И как дым исчезает доходный дом...» (Соглядатай), — и еще множество подобных сочетаний в «Приглашении на казнь»: сочетаний слов с одинаковым числом слогов и рифмующих одно с другим («...От него пахло мужиком, табаком, чесноком») или «симметрических» в звуковом отношении словесных групп: «... в песьей маске с марлевой пастью...» (пм—мп); ср. еще: «...Картина ли кисти крутого колориста» — аллитерации плюс ассонансы; «тесть, опираясь на трость...»; «Там тамошние холмы томление трудов, там-там далекого оркестра...»; «блевал бледный библиотекарь...»; — или еще сколько угодно подобных случаев. Похоже, что автор сам намекает на эту свою манеру, говоря о романе, который читал Цинциннат, где «был в полторы страницы параграф, в котором все слова начинались на п». Но здесь он словно подсмеивается над собою, последовательный в своем стремлении выдержать тон иронии; в другом месте он, говоря от имени Цинцинната, обосновывает этот словесный прием: «... догадываясь о том, как складываются слова, как должно поступать, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражаясь в нем и его тоже обновляя своим отражением ...» Прием, отмеченный мною, — лишь одно из средств «оживить» слово, сделать его экспрессивнее, заставить услышать его звучность. А звучность слова связана с его смыслом: «шелестящее, влажное слово счастье, плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само плачет...» (Соглядатай); «Вот тоже интересное слово конец. Вроде коня и гонца в одном...» (ib.). Ср. также в «Пригл. на казнь»: «Тупое тут, подпертое и запертое четою „твердо“, темная тюрьма... держит меня и теснит». Раз так, то слова, сходно звучащие, говорят о чем-то общем.

Разумеется, здесь нет по существу ничего нового — так же, как и в широком пользовании смелыми метафорами, перенесении, напр., на понятия, выражающие «душевное», «материальных» качеств: «... задумалась женской облокоченной задуманностью» (Соглядатай), или на понятия, порождаемые восприятиями одной категории, качеств, относящихся к восприятиям другой: «бархатная тишина

платья, расширяясь книзу, сливалась с темнотой» (Приглаш. на казнь). Здесь словесные указания на отдельные восприятия сочетаются так, что вместо восприятия нам передается одно целостное впечатление. Подобные стилистические чудеса можно найти уже у Гоголя, затем и у ряда других. Все дело в функции этих приемов, обнаруживаемой степенью смелости при пользовании ими; — а в этом отношении Сирин идет так далеко, как, кажется, никто до него, — поскольку подобные дерзания у него встречаются в контекстах, где они поражают своей неожиданностью: не в лирике, а в «повествовательной прозе», где, казалось бы, внимание устремлено на «обыкновенное», «житейское». Это связано у Сирина и с композицией, где фантастика, небывальщина как-то вкрадываются туда, где мы их не ожидаем, как бы часто это ни случалось, как в «Приглашении на казнь», не ожидаем оттого, что как раз тогда, когда это имеет место, тон повествования — нарочито «сниженный», спокойный, такой, в каком принято повествовать об обыденщине. Включение небывальщины в вульгарную обыденщину тоже не ново: оно есть и у Гоголя и у Салтыкова, еще раньше у Гофмана. Но раз вторгшись, небывальщина у них выступает на первый план; фантастический мотив разрабатывается подробно в каждом куске повествования, так что обыденщина составляет как бы рамку или фон. У Сирина элементы фантастики и реальности намеренно смешиваются; более того — как раз о «невозможном» повествуется мимоходом, как о таких житейских мелочах, на которых не задерживается внимание: «Слуги ... резво разносили кушанья, иногда даже перепархивая с блюдом через стол (что-то похожее на живопись Шагала), и общее внимание привлекала заботливость, с которой м-сье Пьер ухаживал за Цинциннатом ...» Подобных примеров можно было бы привести сколько угодно. Иногда, путем опять-таки легчайших словесных намеков, и то, что относится к «действительности», приобретает характер какой-то бутафорской фикции: «Луну уже убрали и густые башни крепости сливались с тучами». Сперва это кажется каким-то бредовым восприятием действительности. Но если прочесть любую вещь Сирина, — в особенности «Приглаш. на казнь», до конца, все сразу, так сказать, выворачивается наизнанку. «Реальность» начинает восприниматься как «бред», а «бред» как действительность. Прием «каламбура» выполняет таким образом функцию восстановления какой-то действительности, прикрываемой привычной «реальностью».

Всякое искусство, как и всякая культура вообще, — результат усилия освободиться от действительности и, пользуясь все же эмпирической данностью как материалом, переработать его так, чтобы прикоснуться к иному, идеальному, миру. Но эта данность воспринимается и мыслится как реальное бытие, как нечто, имею-

щее свой, пусть и очень скверный, смысл, и как нечто, пусть и очень скверно, но все-таки устроенное, а значит, тем самым, с известной точки зрения и «нормальное». Сирин показывает привычную реальность как «целую коллекцию разных неток», т. е. абсолютно нелепых предметов: «всякие такие бесформенные, пестрые, в дырках, в пятнах, рябые, шишковатые штуки...» (слова Цецилии Ц. в «Пригл.»); — и сущность творчества в таком случае сводится к поискам того «непонятного и уродливого зеркала», отражаясь в котором «непонятный и уродливый предмет» превращался бы в «чудный, стройный образ». В чем эта призрачность, нереальность «нашей хваленой яви», «дурной дремоты», куда только «извне проникают, странно, дико изменяясь, звуки и образы действительного мира, текущего за периферией сознания» (слова Цинцинната)? В том, что Я в нем несвободно — и не может быть свободно, ибо не по своей воле рождается человек («... ошибкой попал я сюда, — не именно в темницу, — а вообще в этот страшный полосатый мир...» ib.), — и если он не м-сье Пьер, для которого жизнь сводится к «наслаждениям», «любовным», «гастрономическим» и пр., он обязательно Цинциннат, который, куда бы ни зашел, в конце концов снова и снова возвращается в свою камеру приговоренного.

Опять-таки: тема «жизнь есть сон» и тема человека-узника — не новы; это известные, общечеловеческие темы, и в мировой литературе они затрагивались множество раз и в разнообразнейших вариантах. Но ни у кого, насколько я знаю, эти темы не были единственными, ни кем они до сих пор еще не разрабатывались с такой последовательностью и с таким, этой последовательностью обусловленным, совершенством, с таким мастерством переосмысления восходящих к Гоголю, к романтикам, к Салтыкову, Свифту, стилистических приемов и композиционных мотивов. Это оттого, что никто не был столь последователен в разработке идеи, лежащей в основе этой тематики. «Жизнь есть сон». Сон же, как известно, издавна считается родным братом Смерти. Сирин и идет в этом направлении до конца. Раз так, то жизнь и есть — смерть. Вот почему, после казни Цинцинната, не его, а «маленького палача», уносит, «как личинку», на своих руках одна из трех Парок, стоявших у эшафота; Цинциннат же уходит туда, где, «судя по голосам, стояли существа подобные ему», т. е. «непроницаемые», лейбницевские монады «лишенные окон», чистые души, обитатели платоновского мира идей.

Я уже имел случай высказать мнение, что искусство Сирина — искусство аллегии, «иносказания»². Почему палач в последний момент «маленький как личинка»? Потому, вероятно, что м-сье Пьер это то, что свойственно цинциннатовской монаде в ее земном воплощении, что вместе с нею родилось на свет и что теперь возвра-

щается в землю. Цинциннат и м-сье Пьер — два аспекта «человека вообще», *everyman*'а английской средневековой «площадной драмы», мистерии. «М-сье — пьеровское» начало есть в каждом человеке, покуда он живет, т. е. покуда пребывает в том состоянии «дурной дремоты», смерти, которое мы считаем жизнью. Умереть для «Цинцинната» и значит — вытравить из себя «м-сье Пьера», то безличное, «общечеловеческое» начало, которое потому и безымянное, как оно воплощено в другом варианте «м-сье Пьера», Хвате (Соглядатай), который так и зовет себя: «мы», или условным именем «просто — Костя». Конечно же, жизнь не только — смерть. В «Даре», в трогательном «Оповещении» (Согляд.) Сирин словно возражает самому себе. Но бывают у каждого человека моменты, когда его охватывает то самое чувство нереальности, бессмысленности жизни, которое у Сирина служит доминантой его творчества, — удивление, смешанное с ужасом, перед тем, что обычно воспринимается как нечто само собою разумеющееся, и смутное видение чего-то, лежащего за всем этим, «сущего». В этом — сиринская Правда.

Примечания

Рецензия на романы Вл. Сирина-Набокова была опубликована в «Современных записках» за 1939 год (№ 68. С. 474—477).

1. «Приглашение на казнь», роман Вл. Набокова, впервые был напечатан в журнале «Современные записки» (Париж, 1934. № 54—56). Роман «Соглядатай» — там же (1930. № 44). См. также: Набоков В. В. Соглядатай, Отчаяние: Романы/Сост., вступ. ст. и прим. В. С. Федорова. М., 1991.

2. Статья «Возрождение Аллегии». См. вступит. статью.

Речевые одежды Москвы

*М. В. КИТАЙГОРОДСКАЯ,
кандидат филологических наук,
Н. Н. РОЗАНОВА,
кандидат филологических наук*

В последние годы сильно возрос интерес к истории русской культуры. Переиздаются или издаются впервые исследования крупнейших отечественных философов, историков, деятелей культуры. Многочисленны мемуарные публикации в журналах. Все более популярной становится данная тематика в передачах телевидения и радио. Особое место в ряду притягательных исторических объектов принадлежало и принадлежит Москве как культурному центру России, городу, на протяжении многих веков сохранявшему свой неповторимый архитектурный облик, своеобразие быта, нравов и специфические черты московской речи. Много наблюдений, замечаний, упоминаний о языке Москвы можно встретить в мемуарной литературе. Описанию устной речи разных социальных слоев населения города посвятил многие страницы своей книги «король московских репортеров» В. А. Гиляровский. Уникальной по собранному материалу и по установкам на максимально точное воспроизведение звучащей речи является книга бытописателя и собирателя живого слова Евг. Иванова «Меткое московское слово». Речь Москвы представляет особый интерес еще и потому, что именно московский народный говор лег в основу русского литературного языка. Недаром А. С. Пушкин призывал учиться яркому, чистому и образному народному языку у московских просвирен.

Имена московских улиц

Менялся архитектурный облик города, менялся его социально-демографический состав, уходили в прошлое старые московские традиции, уклад жизни, менялся и речевой облик города. Постепенно утрачивалось то, что создавало его неповторимость, в частности, имена московских улиц, являвшихся частью духовной и речевой культуры народа.

Особенностью московской топонимики была близость ее к устной речевой стихии. Большинство названий строилось по моделям,

типичным для живой разговорной речи: *Ильинка, Варварка, Знаменка*. Это названия с продуктивным суффиксом -к-, образованные на основе стяжения словосочетаний: *Сретенская улица — Сретенка*. В разговорной речи это одна из наиболее активных номинативных моделей, которая встречается не только в городских названиях, например *сгущенное молоко — сгущенка, гречневая каша — гречка* и т. п.

Не менее распространены были названия московских улиц и площадей, образованные по другой модели стяжения словосочетания — субстантивации прилагательных: *Садовая, Сенная, Тверская*. Данная модель также активна в разговорной речи. Ср.: *ванная комната — ванная, больничный лист — больничный*. Таким образом, эти названия пришли в городскую топонимику из разговорной речи, были живыми и естественными. Пришедшие им на смену новые топонимы далеко не всегда были удачны по ряду причин.

Во-первых, названия должны быть понятны и увязаны с городскими реалиями. Иначе они не приживутся. Например, Манежная площадь получила свое название по зданию манежа, находящегося в центре ее. Новое название Площадь 50-летия Октября совершенно не опиралось на конкретные реалии городского пространства. Оно ничего не говорило ни уму, ни сердцу москвича и поэтому не прижилось.

Во-вторых, топоним по своим языковым характеристикам должен легко «вписываться» в живую стихию городской речи. Дело в том, что составные наименования в устной речи неизбежно сокращаются, эллиптируются. В результате сокращения может возникнуть совершенно неожиданный эффект, на который явно не рассчитывали авторы, дававшие это название. Так, в повседневных бытовых ситуациях весьма своеобразно адаптируется название улицы 26-ти бакинских комиссаров. Вот лишь несколько примеров: *Вы на Бакинских комиссарах живете?; На Комиссарах будете выходить? На Двадцати шести выходите? Вчера на Бакинских масло давали*. Вот такие речевые монстры — печальный результат идеологизации топонимического пространства города. Эти названия с трудом втискиваются в типичное для устной коммуникации речевое окружение (Где живете? Как пройти? На какой остановке выходите?). Старые же названия, наоборот, были идеально приспособлены к функционированию в подобных речевых ситуациях, легко склонялись в устной речи: *Мы живем у Никитских. На Остоженке выходите?*

Подобно тому, как раньше Москва строилась стихийно, так же стихийно из недр народной речи возникали названия улиц. В советское время этот процесс приобрел регламентированный характер. Москву стали застраивать по генеральному плану. Столь же планомерно и часто — увы! — неудачно «спускались сверху» названия

для улиц. Устная речевая стихия отторгала их, не приемля навязанные ей модели.

В последние годы возвращаются старые названия улиц и площадей, а вместе с ними оживляется наша культурно-историческая память: *Пречистенка, Рождественка, Красные ворота, Zubовская* и т. п. Справедливости ради нужно заметить, что старые названия, вытесненные из сферы официальных городских номинаций, продолжали жить в устном обиходе, особенно в речи старшего поколения. Это порождало своеобразные двойные номинации типа: *Это на Кировской, бывшей Мясницкой*. С возвращением прежних названий в речи современных москвичей можно наблюдать сейчас зеркальные модели-перевертыши типа: *Это на Мясницкой, бывшая Кирова*.

В названиях кафе и магазинов также возрождаются старые модели номинаций. Такие например: «У Крестьянки» (т. е. у Крестьянских заставы), «Преображенка», кафе «На Рождественке».

Возвращение старых названий в нашу повседневную жизнь важно не только в социо-культурном плане. Они легче «вписываются» в живую стихию языка города, т. к. строятся по типичным для русской разговорной речи номинативным моделям.

Разновидности московской речи

Устная речь, звучащая на улицах Москвы, многообразна и неоднородна. Она напоминает лоскутное одеяло или яркий калейдоскоп, образующий причудливый узор, собранный из речевого многоцветья московских улиц. На улицах города можно услышать и типично московскую речь, богатую гласными растяжками, и южно-русские диалекты с фрикативным *г*, севернорусские «поджатые» предударные гласные, рязанское яканье и владимирский окающий говор, многообразие кавказских акцентов.

Москва всегда представляла собой «языковой котел», так как большую часть населения составлял пришлый люд. Москвичи издавна славились хлебосольством и гостеприимством, поэтому так странно и обидно слышать недружелюбные восклицания некоторых жителей: *Понаехали тут! Убирайтесь в свою Рязань, Казань, Армению и т. п.* Ведь не так давно и они сами или их родители, или деды пришли в этот город чужаками, и только потом уж он стал для них родным и близким.

Москва издавна была торговым и культурным центром России. Процесс становления Москвы как промышленного центра начинается со второй половины XIX века. Развивалось прежде всего ткацкое производство. Московские рабочие, в отличие от петербургских, очень долго сохраняли связь с деревней. Ткацкие фабрики даже закрывались на время летних сельскохозяйственных работ, так как все работники возвращались домой в деревню на покос, жатву и т. п.

Не удивительно поэтому, что в речи многих жителей Москвы долго присутствовали диалектные меты. Однако исконный московский говор выдерживал «диалектный натиск» и сохранял довольно стабильно свои основные черты.

Какие это черты? Назовем лишь некоторые из них. Это прежде всего сильная растяжка предударного *а*. Не случайно бытовала в прежние времена дразнилка, придуманная жителями других областей России. В ней шутливо выделялась именно эта речевая особенность москвичей: *Мы с Ма-асквы, с па-асаду, с ка-алашиного ряду*. Кроме того, в Москве на месте сочетания *-чн-* произносили *-шн-*: *булошная, молошная, коришневый, лотошник, грешневая (каша)*. По-московски звучали многие слова: *четьверьг, перьвый, грибы, кажный, паска, чоринький (т. е. черненький)* и др. Для московского народного говора характерны были слова-обращения *мамаша, папаша*, а также слова типа *давеча, стращать, страмить, склизко, нужать* и мн. др.

Московский народный говор (имеются в виду его звуковые черты) лег в основу русского литературного языка, языка Пушкина, Толстого, Достоевского, языка русской национальной культуры. Некоторые из этих черт до сих пор сохраняются в литературном произношении как старая московская норма. Другие ушли в прошлое. Отдельные особенности еще встречаются у старшего поколения носителей московского просторечия.

Речь самих коренных москвичей также не была единой. Образованная часть московского населения говорила на литературном языке. Образцовую московскую речь можно было услышать, например, от актеров старшего поколения Малого театра. По воспоминаниям старых москвичей, многие из них ходили в Малый учиться правильному литературному произношению. Сохранились рассказы о том, как замечательно говорили «старики»: Рыжова, Турчинова, Садовские. Можно вспомнить, как восхищается старым московским говором своего учителя героиня повести И. Грековой «Кафедра»: «Физическим наслаждением было слушать его речь — плавную, звучную, со старомосковским (ныне редким) произношением. Он, например, говорил: „т'вердо“, „сьмерть“. Если вы хотите услышать старомосковское литературное произношение, поставьте пластинку с записью голоса Бориса Леонидовича Пастернака, и зазвучит плавная, напевная, мягкая московская речь: «Во всем мне хочется дойти до самой сути...»

В Малом же театре можно было услышать и другую разновидность исконной московской речи — просторечие, московский народный говор. Этот говор звучал в пьесах А. Н. Островского, описывающих быт и нравы купцов Замоскворечья. Некоторые черты

московского просторечия можно услышать иногда и сейчас в речи представителей старшего поколения москвичей.

Несколько лет назад мы записали на магнитофон рассказ старой ткачихи о прошлом ткацкого комбината «Красная Роза» (бывшая фабрика Жиро). К сожалению, письменный текст не может полностью передать всего богатства и своеобразия ее речи. Однако попробуем вчитаться в приводимый небольшой фрагмент и постараемся «услышать» неповторимый строй московского народного говора: «...Теперь как мы питались? Ну ведь никакой кухни, ничего не было! Ни плиток — ничего! Была фабричная кухня. И все. Теперь называют столовая, а раньше так она и называлась — кухня. И все. Когда шли на работу, что мы с собой брали? Ложку деревянную в карман. Вот. Карман у нас у фартука был большой — ложка эта не выскочит оттуда. Вот с этой ложкой шли на работу... Нашу фабрику звали первое время, до революции, Кобылий двор. Почему такое название? Говорят, что когда-то хозяева вместо того, чтобы мясо там положить... коровье, где-то кобылу купили и из кобылятины сварили щи или суп. И вот нас и прозвали. Вот пивоваренный завод напротив был — так и звали: „Ну девки идут с Кобыльевого двора!“ Знаете? По-простому был разговор так».

Таким образом, речь Москвы во все времена включала в себя не только образцовую литературную речь, но и другие речевые разновидности. Подобно тому, как Москва-река вбирает в себя массу мелких ручьев и речек, оставаясь при этом Московской-рекой, так и речь Москвы, вбирая в себя разные речевые разновидности, сохраняла тем не менее неповторимый, самобытный облик.

Современная Москва — это огромный организм, живущий бурной и многообразной жизнью. Столь же многообразна, разнородна, подчас противоречива и речевая жизнь города. Попытаемся вслушаться в многолюдный говор...

Мы так непохожи друг на друга. Мы отличаемся по полу и возрасту, по образованию и профессии, по характеру, темпераменту, воспитанию. Все это не может не влиять на то, как мы говорим, как мы общаемся друг с другом. Речь каждого человека неповторима и индивидуальна, но в то же время любой из нас является представителем определенной социальной группы, профессионального коллектива, носителем различных психологических и ментальных характеристик. Каждый житель — лишь частица огромного города, однако все вместе они образуют совокупность речевых индивидуальностей, представляя своеобразный речевой портрет Москвы.

В течение дня человек не раз меняет свою социальную роль и соответствующий ей речевой костюм. Каждой из социальных ролей обычно соответствует свой набор речевых формул. Характер испол-

няемых социальных ролей задает степень официальности/неофициальности общения, а это в свою очередь влияет на речевое поведение говорящих. Так, в типичной городской ситуации «Как пройти?» мы по-разному обратимся с вопросом к милиционеру или к прохожему. Да и самого милиционера положение обязывает вести себя с собеседником достаточно официально (ср. распространенное речевое клише «он при исполнении»). Иное речевое поведение, более раскованное, допускается при общении с прохожим. Для примера сравним два типичных городских микродиалога. В первом из них прохожий (А.) обращается к милиционеру (Б.), во втором — к прохожему же (В.). Диалог первый: А. *Товарищ лейтенант!* Б. *Я слушаю вас?* А. *Как пройти к музею Пушкина?* Б. *Прямо по Волхонке, с левой стороны.* А. *Спасибо.* Диалог второй: А. *Не скажете, как к райсовету пройти?* В. *Вот мимо этих домов прямо пойдете, а потом налево.* А. *И там увижу? Да?* В. *Да, да, такое красное здание.* А. *Ага, спасибо.*

Невладение нормами речевого поведения или нежелание им следовать приводит к включению текста другой роли. В качестве примера приведем разговор продавщицы и покупателя, в котором продавщица (П.), поправляя покупателя (А.), нарушает «правила игры». Ее речевое поведение не соответствует ее ролевому статусу: А. *Девушка, а туфлей черных у вас нет?* П. *Не туфлей, а туфель.*

Городские стереотипы

Типичной для устной городской коммуникации является стереотипность общения и, соответственно, для языка города типичен жанр городского стереотипа. Можно заметить, что наш повседневный быт заполнен повторяющимся и шаблонным. Все поведение человека подчинено действию определенных стереотипов, которые обладают национальной и социальной спецификой.

Стереотипы — неотъемлемая часть языка города. Войдя в переполненный автобус, пассажир протянет абонементный талон стоящему впереди пассажиру и выберет одну из речевых формул: *Будьте добры, пробейте, пожалуйста!* или *Вы не пробьете билетики (талончики)?* Выходя из вагона, он обратится к пассажирам, стоящим впереди: *На следующей выходите?* Каждый говорящий производит эти речевые действия совершенно автоматически, т. е. не складывает каждый раз заново фразу из отдельных слов, а использует готовые речевые клише, закрепленные за данной ситуацией. Эти клише не только экономят речевые усилия, но и, будучи известными, предсказуемыми, страхуют от возможных коммуникативных неудач.

Особенность нашей современной жизни состоит в том, что мы живем в период ломки, разрушения устоявшихся стереотипов (поведенческих, ментальных). Это приводит к разрушению прежних речевых клише и возникновению новых.

Записи городских стереотипов и микродиалогов — это своего рода хроника нашего времени, а, например, стереотипы в ситуации покупки — это, можно сказать, «дневник инфляции». Стремительность происходящих социально-экономических изменений отражается и в языке города. Так, в разговорах, относящихся к периоду до января 1992 года (т. е. до либерализации цен), было типично употребление слова *колбаса* в расширительном значении — «любые продукты питания», например: *А. Ты куда? Б. Да в магазин, колбасы какой-нибудь купить. Или: Хватит вам о колбасе разговаривать!* (т. е. говорить о еде, быте). К этому же времени острого товарного дефицита относится и частотный пример, когда на стереотипный вопрос о наличии товара в магазине *Что там есть?* следовал ответ *Там ничего нет*, который имел буквальный смысл («полное отсутствие товара», ср. также выражения *пустые прилавки, голые прилавки*). В настоящее время вернулось прежнее гиперболизированное значение («нет того товара, который меня интересует»).

Речевое общение в городе далеко не всегда идет в строгом соответствии с выработанными стереотипами. Причины нарушения стереотипа общения могут быть различными.

Одна из причин — стремление говорящего «сломать» устоявшийся стереотип, проявить свою речевую индивидуальность. Например, в сберкассе кассирша, принимая коммунальные платежи, шутливо обращается к посетителям: *Так, готовьте свои миллионы!* Обычно процедура расчета протекает в молчании, прерываясь стандартными репликами типа: *Готовьте деньги. За два месяца платите?* и т. п.

Вот еще любопытная сценка в мастерской по ремонту часов. Нетипичное поведение мастера (М.) вызывает замешательство у клиентки (А.): *А. Добрый день. М. Добрый день. А. (показывает неисправные часы-будильник). Вот такие часы вы ремонтируете? У них звонок не работает. М. Дело в том, что у них болезнь такая. А. (не понимает, растерянно) Что? М. Болезнь у них такая. И помочь вам может только одна мастерская. Проспект Мира, три. А. Понятно. Спасибо.*

В приведенных примерах мы сталкиваемся с использованием говорящими языковой шутки, игры в условиях стереотипного общения. Интересно, что игровой, шутливый тон, предлагаемый одним из участников коммуникации с целью разнообразить обыденную ситуацию, принимается собеседниками. Они обычно улыбаются в ответ, либо сами стараются пошутить.

В условиях городской коммуникации мы встречаем и другой тип отхода от нейтрального, вежливого стереотипа, за которым стоит выбор иной стратегии речевого поведения — инвективной. Случаи языковой грубости, к сожалению, хорошо известны. Чаще всего мы сталкиваемся с ними в сфере обслуживания при нарушении партнерами коммуникации ролевых отношений «прода-

вещ — покупатель». Отметим, что формулы грубости также могут иметь клишированный характер.

Известный в условиях рынка принцип сферы обслуживания «Клиент всегда прав» в нашей торговле способен вызвать лишь грустный смех. В лучшем случае возможно установление паритетных отношений. (Достаточно вспомнить плакат, до недавнего времени красовавшийся в магазинах: «Покупатель и продавец! Будьте взаимно вежливы!») Однако чаще всего наблюдается ситуация прямо противоположная, что отражается в целом наборе стереотипных диалогических реплик-реакций: *Не хотите — не берите! Вас много, а я одна! Выбирать на рынке будете!*

Записи городских микродиалогов позволяют вывести своеобразный антикодекс реальных отношений между продавцом и покупателем. Сюда входит представление о круге профессиональных обязанностей (точнее — не-обязанностей) продавца. Он НЕ обязан: отвечать на вопросы покупателей (*Там все написано!*), упаковывать товар (*Это не входит в мои обязанности!*), иметь информацию о наличии товара и отвечать за его качество (*Нам что дают, то мы и продаем!*), быть вежливым с покупателями, помочь им выбрать товар и т. п. В свою очередь покупатель обязан: не задавать лишних вопросов: (*Мы не справочное бюро!*), не отвлекать продавца от его занятий (*Вы не видите, я считаю! Не могут подождать минуту!*). Кроме того покупатель не имеет права выбирать товар (*Вы не на рынке!*).

При инвективным поведении задействованы определенные речевые механизмы. Мы обратим внимание лишь на некоторые из них, наиболее типичные. Это, во-первых, резкое разграничение сферы «свое» — «чужое». На уровне речи это проявляется прежде всего в актуализированном употреблении местоимений 1 и 2 лица: *мы, нам, у нас.../вы, вам, у вас...* Ср. следующий разговор между продавщицей (П.) и покупательницей (А.) в овощном магазине: А. *Девушка, пакет можно?* П. *Мы пакетов не даем, чтоб вам подарки заворачивать! Пакеты только под виноград!*

Еще большая дистанцированность достигается тогда, когда о партнере коммуникации говорится в третьем лице (*он, она*). Нередко он предстает в немотивированно обобщенном виде (неоправданная генерализация адресата). Грамматические категории в данном случае «работают» на отчуждение. Ср. такие примеры: 1. В отделе гастронома продают чебуреки. Одна из продавщиц (П.) считает деньги. В этот момент покупатель (А.) протягивает ей чек: А. *Девушка, вы не подадите мне чебурек? Я только что брал. П. Вы не видите? Я считаю! Вот туда обратитесь. Не отдел, а проходной двор! Вот прям сейчас все брошу и побегу ему чебурек подавать!* 2. Кассирша оживленно разговаривает со своей знакомой, забыв об очереди. Покупатель пытается напомнить о себе, постучав монеткой

по тарелке для денег. Кассирша возмущенно реагирует: *Вы не стучите! На работе по два часа болтают, а тут стучат!*

Одной из форм речевой грубости является также молчание в ответ на вопрос покупателя. Вот лишь один пример. Мужчина и женщина стоят перед прилавком. Женщина (А.) обращается к продавщице (П.): *А. Девушка, сколько стоит эта шапка? П. (молчит, не отвечает). А. (обиженно, обращаясь к своему спутнику) Трудно ответить. Боже мой! Как военная тайна! Я ее два раза спросила.*

Эти грустные и, к сожалению, хорошо известные случаи — также одна из сторон речевой жизни города. Приведенные примеры представляют определенный научный интерес. И не только в лингвистическом плане (как материал для изучения речевых механизмов инвективного поведения), но и в плане изучения общественной психологии, поскольку, подобно барометру, отражают колебания социальной атмосферы.

При восстановлении нормальной ролевой структуры ситуации неизбежно восстанавливается и этикетно выдержанное речевое поведение. Такие нормальные ролевые отношения наблюдаются чаще всего на рынке, зарождение подобных отношений происходит сейчас в кооперативной, коммерческой торговле (правда, не без отклонений в сторону привычной для нашего обихода грубости). Приведем два небольших примера: 1. А. покупает яблочную кулебяку у продавца кооперативного магазина (П.): *П. Вам сколько? А. Одну, пожалуйста. П. (подает кулебяку). Пожалуйста. А. Спасибо. П. Кушайте на здоровье.* 2. На рынке женщина, торгующая цветами, зазывает покупателя: *Молодой человек! Мы вас полчаса ждем здесь уже! Не хотите розы? Смотрите какие! Ро-о-зочка!*

Изучение речи города представляет научный интерес не только для лингвистов, но и для историков, политологов, психологов. Ведь более внимательный взгляд на нашу повседневную речь позволяет нам лучше понять самих себя, уяснить, какие мы. Как живем, так и говорим. Устная городская речь — это уникальная звуковая застройка города. Часть нашей основательно поломавшейся жизни, очередного крутого поворота истории.

Происходящие в последние годы радикальные политические и социально-экономические преобразования заметно повлияли на структуру и характер городской коммуникации. Как видим, существенные изменения наблюдаются в функционировании типичных жанров городской речи — стереотипов и микродиалогов. Но новое не только в этом. Возрождаются жанры городского фольклора (устная реклама, зазывы, острословицы и др.), появились новые актуальные коммуникативные сферы — в частности, народные митинги-гулянья.

Общие тенденции в изменении характера городской коммуникации будут рассмотрены в следующей статье.



В САМОМ ДЕЛЕ ИЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ?

С. И. БУГЛАК,
кандидат филологических наук

Слова, словосочетания и фразеологизмы, близкие по звучанию и написанию, имеют иногда различные значения. Подчас эти различия трудноуловимы, что приводит к их смешению. Это явление в языке называется паронимией. Таковы выражения *в самом деле* и *на самом деле*. Фразеологический словарь русского языка (Под ред. Э. Э. Жукова. — М., 1987) рассматривает их как одно и то же выражение с чередующимися предложениями *в* и *на*. Существует и другое мнение: эти выражения фразеологические паронимы, имеющие разные значения: *в самом деле* в значении «действительно», а *на самом деле* — в значении «фактически». (Вишнякова О. В. Паронимы в русском языке. М., 1989. С. 65). Расхождения в толковании этих выражений требуют специального их рассмотрения.

Как показывает анализ примеров, *в самом деле* располагается обычно на стыке двух предложений, связанных между собой по смыслу. Например: «Что за чудо,— говорил Алексей.— Да у нас учение идет быстрее, чем по ланкастеровской системе. В самом деле, на третьем уроке Акулина уже разбирала по складам» (Пушкин. Барышня-крестьянка); «Отношение к презумпции невинности знаменует собой принципиальную границу между демократией и реакцией, законностью и произволом, правосудием и его фикцией. В самом деле: руководствуясь презумпцией невинности, мы исходим из того, что всякий человек честен, пока объективно и неопровержимо не доказано обратное» (Правда. 1988. 3 мая). Употребляя выражение «в самом деле», говорящий как бы подтверждает достоверность, истинность предыдущего высказывания.

В самом деле может быть и союзом, и вводным членом предложения. На письме, находясь в препозиции, оно отделяется от основного состава запятой. Если же связи у этого выражения с предыдущим высказыванием сильнее, чем с последующим, то в этом случае оно выступает в роли самостоятельного предложения и на письме от последующего предложения отделяется двоеточием, а иногда — тире или точкой с запятой. В этом отношении показательна достаточно независимая позиция следующего после этого выражения предложения: оно может быть вопросительным, восклицательным, побудительным и достаточно распространенным повествовательным, например: «Знаете, наряжусь я крестьянкою! В самом деле; наденьте толстую рубашку» (Пушкин. Барышня-крестьянка); «Люди не знают, сколько им причитается за работу. В самом деле — не знают!» (Известия. 1990. 17 мая).

Высказывания, которые связывает выражение *в самом деле*, могут следовать друг за другом, но и разделяться могут другими предложениями. *В самом деле* обычно употребляется при переходе от чужой речи к речи авторской, когда автор подхватывает или развивает мысль или положение, высказанное им самим или другим лицом, стремится аргументировать их. При помощи словосочетания «вводится мотивирующее рассуждение: говорящий, во-первых, предупреждает адресата о том, что должно последовать развернутое обоснование предшествующего тезиса, во-вторых, призывает адресата принять участие в размышлении, в результате которого адресат должен согласиться с приведенными данными» (Ляпон М. В. Смысловая структура сложного предложения и текста. М., 1986. С. 188—190).

В середине предложения *в самом деле* становится его членом — своеобразным модальным обстоятельством, которое А. А. Шахматов назвал сопутствующим (Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Л., 1941. С. 416), и тогда на письме запятыми не выделяется, например: «Товарищи прозвали его философом. Он в самом деле интересовался философией» (Караева. Огни); «„Это коньяк, — сказал он. — Коньяк великолепный“. Коньяк в самом деле оказался хорошим» (Чехов. У знакомых).

Находясь в середине предложения, *в самом деле* обычно относится к сказуемому, а через него — ко всему составу предложения. Однако встречаются примеры отношения этого выражения к любому члену предложения, когда оно располагается в непосредственной препозиции, например, к обстоятельству: «В Америке мы в самом деле мало знаем о Советском Союзе» (Труд. 1988. 21 мая). В середине предложения *в самом деле* выражает два основных значения: 1) значение обстоятельства, синонимичное выражению «в действительности»; 2) значение модального слова, подтверждающее

достоверность предыдущего высказывания, синонимичное словам «действительно, фактически».

В вопросительном предложении *в самом деле* ведет себя иначе, чем в повествовательном. При отсутствии вопросительных слов это выражение подчеркивает требование получить подтверждение информации со стороны слушающего, в достоверности которой не уверен спрашивающий, например: «Он в самом деле ничего, здоров, весел?» (Тургенев. Рудин); «А вы в самом деле подумали, что я такой злой?» (Островский. Бедность не порок).

В вопросительных предложениях внутренней речи *в самом деле*, употребляющееся вместе с модальными словами *может, может быть*, передает размышления по поводу достоверности имеющейся информации: «Может, и в самом деле в городе иссякли запасы этого продукта?» (Вечерний Ленинград. 1990). Если же этому словосочетанию в начале и в середине предложения сопутствуют вопросительные слова, то усиливается выражение эмоций возмущения, недоумения, негодования, опасения, удивления и т. п. Например: «Ах, в самом деле, гадкие дети, почему вы мне ничего не сказали?» (Зощенко. Золотые слова); «Да и кто, в самом деле, назначает в интеллигенты?» (Новое время. 1990). В этих предложениях выражение *в самом деле*, внося дополнительные модальный и эмоциональный оттенки, выступает в роли вводного члена предложения и на письме отделяется запятой. Если же *в самом деле* является членом предложения в значении «в действительности», то это выражение запятой не выделяется, например: «Что если он в самом деле потащит меня в тюрьму?» (Гоголь. Ревизор).

Словосочетание *на самом деле*, как и *в самом деле*, подчеркивает истинность и несомненность факта. Оно, как правило, находится на стыке двух предложений, в самом начале второго, и помогает говорящему опровергнуть факты, мысли, мнения, которые, по его мнению, являются ложными, не соответствующими действительности: «Полярная звезда кажется совершенно неподвижной. На самом деле она движется; Григорий держал бакалейную лавку, но это только для вида, а на самом деле он торговал водкой» (Чехов. В враге).

Высказывания со словосочетанием *на самом деле* раскрывают подлинную картину тех или иных явлений действительности: они передают противоречие между мечтой и реальностью, между чувственным отражением действительности и научным анализом, между правдой и ложью, между словом и делом, между ожидаемым и реальным результатом, между фактом и его интерпретацией. Они также служат для того, чтобы разоблачить ложь, раскрыть истинные намерения говорящего, показать несостоятельность теорий и гипотез. Как правило, в таких случаях предыдущие высказывания несут

недостовверную информацию. Показателями недостовверности являются такие выражения, как *казалось бы, кажется, как будто, вроде бы* и др. Например: «Казалось бы, нет проблем: хотите добровольно вносить средства — нет никаких препятствий. Но на самом деле проблемы есть» (Правда. 1990. 10 мая).

Таким образом, *в самом деле* употребляется для подтверждения достовверности предыдущего высказывания, а *на самом деле* — для опровержения. В этом их основное различие. Сравните, например:

Неужели он болен? — Да, он *в самом деле* болен.

— Нет, *на самом деле* он здоров.

В самом деле употребляется наряду с утвердительной частицей *да*, так как выражает согласие, а *на самом деле* — с отрицательной частицей *нет*, так как выражает несогласие.

В ответных утвердительных репликах диалогов *в самом деле* может употребляться самостоятельно, без частицы *да* и выражать согласие:

А н я. Начинается новая жизнь.

Г а е в. В самом деле, теперь все хорошо (Чехов. Вишневый сад).

Различия в употреблении этих выражений проявляются также и в том, что в ответах на вопросительные предложения для выражения удивления, интереса, недоумения часто встречается *в самом деле* и практически отсутствует выражение *на самом деле*. Сравните:

Он приходил к нам.

— В самом деле? (Но: На самом деле?) (Запись устной речи).

А вот как выглядят в этих выражениях различия на синтаксическом уровне: в начале предложения *в самом деле* выступает обычно в функции вводного модального слова и, реже, самостоятельного предложения, между тем как *на самом деле* является членом предложения — модальным обстоятельством. Различны их функции и на уровне текста: соединяя предыдущее высказывание с последующим, *в самом деле* выступает в роли своеобразного текстового союза, тогда как *на самом деле* в этой функции не употребляется. Будучи членом предложения, *на самом деле* свободно сочетается с противительными союзами *а, но, однако*, в то время как для *в самом деле* такое употребление не характерно.

Между этими выражениями имеются и стилистические различия: *в самом деле* используется для аргументации предшествующих высказываний, а *на самом деле* — для приведения контраргументов.

Но есть между этими выражениями и сходство. Так, в середине предложения *в самом деле* может выступать не как вводно-модальное выражение, а, аналогично *на самом деле*, как обстоятельство в значении «в действительности», поэтому здесь возможна замена *в самом деле* на *на самом деле*. Например: «Я хотел сделать вид, что тону и чуть *в самом деле* (-на самом деле) не утонул». Не случайно

поэтому *в самом деле* в середине предложения запятыми не выделяется.

Сходство в употреблении этих выражений наблюдается в восклицательных предложениях: *в самом деле* и *на самом деле* используются в них в качестве вводного эмоционального члена предложения для увеличения эмоциональной силы высказывания (Мещанинов А. А. Члены предложения и части речи. Л., 1978. С. 226). Например: «Нельзя же, *в самом деле*, считать причиной гибели подводной лодки „технические несовершенства“» (Смена. 1990); «Ведь не перестала же, *в самом деле*, наша земля „родить“ талантливых людей» (Правда. 1990); «В конце концов нельзя же, *на самом деле*, питаться только икрой» (Правда. 1990). Оба эти выражения вносят дополнительный эмоциональный оттенок, и, с нашей точки зрения, их следует выделять в восклицательных предложениях запятой.

Итак, *в самом деле* и *на самом деле* — разные выражения. Первое выражает подтверждение достоверности предыдущей информации и согласие с мнением собеседника, второе — опровержение и несогласие. Однако в середине предложения *в самом деле* и *на самом деле* выступают в значении обстоятельства и могут быть взаимозаменяемы, хотя и наблюдаются незначительные стилистические различия: *на самом деле* обладает большей эмоциональной силой, чем *в самом деле*.

Санкт-Петербург

Уважаемые подписчики!

Не забудьте вовремя продлить подписку на «Русскую речь» на 2-ю половину 1994 года.

ДОСТАТОЧНО И ДОВОЛЬНО

Г. В. ДАГУРОВ,
кандидат филологических наук

В современном активном нашем словаре некоторые слова неожиданно входят в моду. Приобретая популярность, они иногда выходят за рамки собственного значения. Например, слово *достаточно* на наших глазах расширяет свое значение за счет захвата полного значения другого слова, своего синонима *довольно*, и получается, что *достаточно* употребляется вместо слова *довольно*, хотя эти два синонима четко различаются по значению.

Достаточно — это столько, сколько нужно чего-нибудь, т. е. что-то наличествует в нужном количестве, в необходимой мере, в требуемом объеме, отвечающем определенным условиям: Сил во мне пока еще *достаточно*; У нас *достаточно* времени, чтобы успеть завершить начатое дело; *Достаточно* слова, чтобы он послушался; Он ходил по двору и ругался негромко, но *достаточно* слышно; «Для коростелей *достаточно* мелкой бекасиной дробь» (С. Аксаков. Записки ружейного охотника).

Если в слове *достаточно* обязательно наличествует мысль об определенной требуемой мере, о вполне достаточном качестве и количестве, то слово *довольно* означает «приблизительно», «до некоторой степени», без мысли о требуемом пределе или о завершенном качестве: Мальчик рисует *довольно* хорошо; Здесь *довольно* часто появляются НЛО; Марина Цветаева начала писать стихи *довольно* рано; Этот вопрос вызвал *довольно* много споров.

Как видим, эти два синонима вполне ощутимо различаются по смыслу. Но, несмотря на это в последнее время их очень часто путают. При этом обычно употребляют *достаточно* вместо *довольно*: Людей, не имеющих собственного дома, становится *достаточно* много; Судебный процесс шел *достаточно* медленно; Известный минералог Гаюи познакомился с минералогией *достаточно* поздно; В пургу погибло *достаточно* много овец и коз; Было *достаточно* поздно, когда они разошлись; Я начал сочинять музыку *достаточно* рано; Выступал *достаточно* молодой поэт; Рождается *достаточно* большое количество детей с той или иной патологией; Шел разговор *достаточно* бурный.

Примеры эти, в которых слово *достаточно* явно употреблено вместо *довольно*, взяты из передач по телевидению и радио.

Оба синонима, конечно, как и многие другие, обозначают очень близкие понятия, но все-таки они нетождественны, так как служат для выражения хотя и очень сходных, но разных смысловых оттенков, и являются оттеночными, а не ярко выраженными экспрессивно-стилистическими синонимами. Так что следует очень внимательно выбирать из них тот вариант, который точнее выражает необходимый оттенок значения.

Коломна

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Уважаемая редакция! Прошу разъяснить смысл загадочного слова „Кандибобер“. Ни в одном из словарей найти объяснение не удалось».

С. Н.Холмецкий, Калуга

Кандибобер — искусственно созданное слово. В «Словаре русских народных говоров» содержится следующая информация о его значении:

«Кандибобер. 1. О чем-либо выделяющемся, необычном, замысловатом. а) Об отличном качестве или необычном виде чего-либо: «Сапоги с кандибобером». б) О странностях, причудах в поведении кого-либо: «Вечно он с какими-нибудь кандибоберами» (с фокусами, выкрутасами). 2. В значении наречия. Важно, с форсом: «Пройтись кандибобером». 3. В значении наречия. Изгибаясь, рисуясь: «Котенок кандибобером ходит». 4. С кандибобером — то есть с шумом, с треском (выгнать, выставить и т. д.). 5. Опрометью, вверх тормашками: «Как наподдам ему, полетит от меня кандибобером».

К 100-летию со дня рождения С. Г. Бархударова

«ГЛАВНЫЙ УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА»

*Е. А. ИВАНЧИКОВА,
доктор филологических наук*

Имя Степана Григорьевича Бархударова широко известно не только у нас в России, но и во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. Это был замечательный языковед-русист, прекрасный педагог, талантливый организатор научной деятельности.

С. Г. Бархударову 7 марта 1994 года исполнилось бы 100 лет. Всего нескольких месяцев не дожидаясь он до своего девяностолетия. Долгий и нелегкий жизненный путь С. Г. Бархударова — от школьного учителя до члена-корреспондента Академии наук СССР — был насыщен неустанным творческим трудом, одухотворенным преданностью и любовью к науке о русском языке.

С. Г. Бархударов родился в Баку. В 1913 г. он поступил на факультет славянской филологии Петербургского (Петроградского) университета и после успешного его окончания в 1918 г. был по представлению академика А. А. Шахматова оставлен при кафедре русского языка для подготовки к научно-исследовательской работе. В трудные 1918—1922 годы С. Г. Бархударов преподавал русский язык в Пятигорске и Баку. В 1922 году, вернувшись в Петроград, он под руководством академика Е. Ф. Карского готовился к сдаче магистерских экзаменов и одновременно вел педагогическую работу. С 1926 года он доцент, а с 1932 года вплоть до начала Великой Отечественной войны, а затем, по возвращении из эвакуации, с 1947 по 1953 гг. — профессор филологического факультета Ленинградского государственного университета. В 1950—1953 гг. С. Г. Бархударов заведовал кафедрой русского языка Ленинградского педагогического института им. М. Н. Покровского.

В течение почти 40 лет С. Г. Бархударов трудился в научных учреждениях Академии наук СССР (с 1958 г. — в Москве, куда он переехал из Ленинграда). В 1946 г. он был избран членом-корреспондентом АН СССР.

Молодые годы ученого совпали со временем расцвета русской классической филологии. Серьезное воздействие на формирование

научного мировоззрения С. Г. Бархударова оказали лингвистические идеи А. А. Шахматова. Позднее, в 20—30-е годы С. Г. Бархударову выпало счастье непосредственного, личного научного общения с такими корифеями отечественной лингвистики, как Е. Ф. Карский, Б. М. Ляпунов, Н. С. Державин, Л. В. Щерба, С. П. Обнорский, Л. П. Якубинский, В. И. Чернышев, Е. С. Истрина. Со многими из них, особенно с Л. В. Щербой, С. П. Обнорским, Е. С. Истриной, он многие годы сохранял тесные дружеские отношения.

Лингвистические взгляды С. Г. Бархударова отличались широтой и многообразием, остротой и оригинальностью, живой связью с движением научной мысли, с реальностями текущей жизни. В круг его научных интересов — в разные периоды деятельности ученого — входили вопросы лексикологии и лексикографии, грамматики, словообразования, орфографии и пунктуации современного русского языка, а также вопросы истории русского языка — древнего периода и нового времени.

Вместе с тем творческая деятельность С. Г. Бархударова на протяжении всей его жизни была неизменно связана с нашей школой, с обучением детей и взрослых русскому языку. На этом благородном и жизненно важном поприще наиболее плодотворно проявился талант С. Г. Бархударова как лингвиста-теоретика и как практика-преподавателя. Именно в области школьного обучения русскому языку С. Г. Бархударов приобрел заслуженную популярность и устойчивый авторитет в качестве «главного учителя русского языка». Еще в 1928 г. появился его первый научно-педагогический опыт: «Задания для заочной подготовки поступающих в Ленинградский комуниверситет», выдержавший два издания. Затем следуют публикации: «Рабочая книга по русскому языку. Для вечерних совпартшкол» (1931), в соавторстве с Б. А. Лариным — «Грамматические очерки современного русского языка» (в журнале «Литературная учеба», №№ 3, 4, 5 и 10, 1934; № 4 и 5, 1935), «Русская грамматика (пособие для комвузов)» (1935), «Грамматика русского языка. Учебник для карельских школ» (1939).

В 1938 г. вышел в свет подготовленный С. Г. Бархударовым совместно с Е. И. Досычевой учебник: «Грамматика русского языка. Учебник для неполной средней и средней школы». Он был признан лучшим из представленных на конкурс стабильных учебников, выдержал четыре издания и принес С. Г. Бархударову широкую известность. Долгое время этот учебник служил надежным пособием не только школьникам, но и студентам-филологам: изложение основ русской грамматики в нем было максимально сближено с положениями науки того времени, привлекали ясность и отточенность формулировок, удачное композиционное расположение материала. Затем этот учебник был значительно усовершенствован; в 1944 г.

вышел в свет учебник С. Г. Бархударова под редакцией академика Л. В. Щербы (с тем же названием), выдержавший 14 изданий. Этому учебнику сопутствовал «Сборник упражнений по орфографии» под редакцией Л. В. Щербы (с 1946 г. по 1953 г. вышло семь изданий этого пособия).

С 1954 года начинает выходить «Учебник русского языка для средней школы» С. Г. Бархударова и С. Е. Крюкова, выдержавший 19 изданий. В теоретическую часть учебника постоянно при его переизданиях вносились изменения и поправки, направленные на приближение школьного курса грамматики к уровню современной науки о русском языке. В 1962 г. учебник был основательно переработан для восьмилетней школы. Стремясь сгладить всегда существовавший разрыв между школьной и научной грамматикой, авторы внесли, в частности, соответствующие изменения и уточнения в отдельные формулировки определений некоторых грамматических категорий и в освещение ряда теоретических вопросов, но самое главное — коренным образом изменили раздел «Сложноподчиненные предложения»: изучалась уже собственно структура сложноподчиненного предложения как цельной синтаксической конструкции вместо бытовавшего прежде установления сходства придаточного предложения с тем или иным членом главного предложения.

Этот учебник сменяется новым, еще раз переработанным, действовавшим затем многие годы — «Русский язык. Учебное пособие для 7—8 классов», где С. Г. Бархударов выступает в соавторстве с С. Е. Крюковым, Л. Ю. Максимовым, Л. А. Чешко. Не будет преувеличением сказать, что в течение четырех десятилетий вся страна изучала русский язык «по Бархударову». Эта практическая, очень трудоемкая, напряженная и ответственная работа С. Г. Бархударова по составлению учебников и их постоянному совершенствованию сопровождалась теоретическим осмыслением вопросов методики преподавания русского языка, соотношения школьного курса русского языка с современной лингвистической наукой. Публикуются его статьи на эти актуальные темы, такие, как: «Основы преподавания русского языка в школе» (1958), «О состоянии методики преподавания русского языка» (1959), «Еще раз о состоянии преподавания русского языка» (1960), «Об учебнике синтаксиса для VI—VIII классов» (1962) и др. Заботливое внимание к усовершенствованию профессиональной подготовки учителей-словесников С. Г. Бархударов проявлял также в качестве ответственного редактора журнала «Русский язык в школе» (1938—1946).

Особый аспект исследовательских интересов С. Г. Бархударова составляли вопросы обучения русскому языку нерусских учащихся в школах и вузах. Эта поначалу узкая тема выросла впоследствии, как известно, в большую научную проблему — русский язык как

средство межнационального общения. Она активно разрабатывается сейчас коллективами лингвистов. С именем С. Г. Бархударова связано возникновение журнала «Русский язык в национальной школе», главным редактором которого он был в 1957—1960 и в 1964—1972 гг. Он был также членом редколлегии журнала «Русский язык за рубежом», председателем Научно-методического совета по русскому языку для нерусских при Министерстве высшего и среднего специального образования СССР, членом Ученой комиссии по русскому языку Министерства просвещения РСФСР.

Помимо этой большой научно-организационной работы, которой С. Г. Бархударов занимался в течение нескольких лет, он уделял серьезное внимание собственно содержательной стороне курса русского языка, преподаваемого в нерусских аудиториях. Этому, в частности, был посвящен его обширный доклад «О некоторых лингвистических проблемах, связанных с обучением русскому языку нерусских», прочитанный на совещании-семинаре заведующих кафедрами и методистов русского языка педвузов автономных республик и областей РСФСР, состоявшемся в Москве в феврале 1958 г. Он говорил там о необходимости специального изучения русского языка с точки зрения нерусского языкового мышления и всестороннего раскрытия тех языковых явлений, которые создают национальное своеобразие русского языка. Эта общая, очень сложная задача была в докладе детально конкретизирована на материале отдельных разделов курса, были также отмечены недостатки существующих программ и пособий. С. Г. Бархударов призвал языковедов-русистов интенсивно заняться научной разработкой проблем, связанных с изучением русского языка в национальных республиках.

Много сделал С. Г. Бархударов как превосходный педагог-практик, особенно когда он вел основные лингвистические дисциплины в ленинградских вузах. Для студентов филологических факультетов университетов и педагогических институтов он в соавторстве с академиком С. П. Обнорским составил очень ценное пособие — «Хрестоматию по истории русского языка» (часть I — 1938, часть 2 — 1948 и 1949; в 1952 г. вышло второе издание 1-й части), предназначенную для практических занятий. В ней были удачно подобраны отрывки из памятников XI—XVII вв., представляющих тексты разнообразных жанров древнерусской письменности и отражающих разные наречия древнерусского языка. Эта книга до сих пор служит незаменимым пособием не только для студентов, но и для аспирантов-филологов и преподавателей русского языка. Бывшие ученики Степана Григорьевича, многие из которых впоследствии стали видными учеными — кандидатами и докторами наук, профессорами, хранят благодарную и теплую память о своем учителе и мудром наставнике.

Исключителен авторитет С. Г. Бархударова как крупнейшего лексиколога и лексикографа. Он был инициатором создания Большого академического словаря современного русского литературного языка в 17 томах, работа над которым велась в течение многих лет большим коллективом сотрудников Словарного сектора Института русского языка АН СССР, одно время руководимым С. Г. Бархударовым. Степан Григорьевич был председателем редколлегии 2-го, 3-го, 4-го томов и членом редколлегии всех других томов этого фундаментального труда. Больших творческих и организационных усилий потребовала работа над словарем в тяжелую для него пору, когда, начиная с 4-го тома, было решено изменить принцип расположения словарных статей — с полугнездового на алфавитное. Авторский коллектив благополучно перестроил свою работу на новых началах, в чем была немалая заслуга его руководителя С. Г. Бархударова. В 1970 году после успешного завершения этого грандиозного лексикографического предприятия коллективу редакторов, и в их числе Степану Григорьевичу, была присуждена Ленинская премия.

При активном участии С. Г. Бархударова создавался и четырехтомный академический словарь русского языка, получивший широкую известность и заслуженную популярность у нас и за рубежом, выходили многочисленные издания «Орфографического словаря русского языка».

С. Г. Бархударов внес заметный вклад и в область исторической лексикографии, долгое время остававшейся у нас одним из слабых участков лексикографической деятельности. Возглавив новое большое лексикографическое издание — «Словарь русского языка XI—XVII вв.», он непосредственно руководил работой по подготовке первых его выпусков, был автором обобщающих статей, содержащих теоретическое осмысление словарного дела в стране: «Русская советская лексикография за 40 лет» (1957) и «Русская лексикография» (1967). В течение многих лет С. Г. Бархударов возглавлял Научный совет по лексикологии и лексикографии АН СССР, основной задачей которого было содействие развитию лексикографии в национальных республиках. Своими успехами национальная лексикография во многом обязана деятельности и авторитету Степана Григорьевича.

Не утратили своей актуальности труды С. Г. Бархударова в области истории отечественного языкознания. Им написаны работы, освещающие идеи и характеризующие научную деятельность таких наших видных лингвистов, как С. П. Обнорский, И. И. Срезневский, Г. О. Винокур, Л. А. Булаховский, Р. И. Аванесов.

С. Г. Бархударов обладал редким даром организатора научной деятельности. В течение почти 40 лет он вел интенсивную, требую-

щую большой отдачей научно-организационную работу в Академии наук — в качестве заместителя директора Института языка и мышления, ученого секретаря Отделения литературы и языка, заместителя директора Института русского языка, заместителя академика-секретаря Отделения литературы и языка; многие годы он был членом редколлегии журнала «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», был редактором большого числа монографий и сборников.

Степан Григорьевич никогда не был ни чисто кабинетным ученым, ни сухим чиновником-формалистом. Многие его плодотворные идеи рождались и развивались в самом процессе живого общения с коллегами, друзьями, знакомыми, учениками; часто во время простой беседы он делился с ними своими мыслями, результатами собственных изысканий. Будучи наследником глубоких традиций классического языкознания, С. Г. Бархударов был в то же время подлинно современным ученым — неустанно следил за развитием лингвистической науки, чутко угадывая ее перспективные направления, поощрял своим авторитетом наиболее актуальные идеи и начинания. Замечательные качества ученого-лингвиста — широта, жизненность научных интересов, осведомленность в разных областях филологии, оригинальность мысли, большой педагогический дар, исключительный организаторский талант — счастливо сочетались в личности С. Г. Бархударова с редким человеческим обаянием, простотой в общении, добротой и отзывчивостью к людям. Это был прекрасный человек — высокоблагородный, принципиальный, требовательный к себе и другим, исключительно благожелательный, истинно демократичный, общительный и остроумный, деликатный и скромный.



СЛОВО О ЖИТИИ И УЧЕНИИ СТЕФАНА ПЕРМСКОГО*

Предлагаемый вниманию читателей фрагмент главы из «Жития Стефана Пермского» посвящен прославлению миссионерского подвига Стефана. В нем рассказывается о создании епископом азбуки и письменности пермского языка. Епифаний Премудрый высоко оценивает просветительскую деятельность Стефана и ставит его в один ряд с создателями славянской письменности — Кириллом и Мефодием.

О ПРИЗВАНИИ И УВЕРОВАНИИ МНОГИХ НАРОДОВ

Об этом и апостолы свидетельствуют — об обращении стран и о призвании народов: как подобает у всех народов проповедовать слово Божие, и как подобает язычникам обращаться к Богу, и верить, и креститься. Евангелисты (благовестники), проповедники свидетельствуют об этом, и пророки согласно говорят. Исаия же сказал: «Вот народы, которые не ведают Тебя, призовут Тебя, и люди, которые не знают Тебя, прибегут к Тебе», и Давид сказал:

* Начало см.: Русская речь. 1994. № 1.

«Все народы <...> придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое вовек»¹. И еще сказал Исаия: «возвестите имя Его по всей земле»² «народы, ходящие во тьме неразумия, люди, сидящие во тьме, увидели свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет»³.

Так же ведь и иные пророки прочие говорили об обращении и спасении стран, и о призвании народов, и о проповеди, которая по всей земле: много стран есть во всей вселенной, и много народов было по всей земле. Итак, когда пророки благое предрекали, а апостолы благое проповедовали, одни из народов уверовали в проповедь апостольскую и крестились, а прочие остались во тьме неведения в неверии, в заблуждении идолослужения, и не приняли слова Божьего, и не послушали его, а другие остались [в прежнем состоянии], потому что не имели проповедника и не было наставляющего их, и поэтому пребывали в неверии.

Нашел я как-то, что в главе книжной, в Словах *св. Феодорита*⁴, «Толковании от Палеи», написано о том, что, послушав проповедь апостольскую, слово Божье, уверовали и крестились народы, но не все, а только числом 51, а остались некрещеными числом 21. Всех же народов по всей земле семьдесят два, которые и при столпотворении стали известны, когда разделились языки (народы) на семьдесят два и смешались, и рассеялись по лицу всей земли. И еще слышал я от другого дидака (учителя) иное слово изреченное, но не знаю, соответствует ли истине то, что он говорит: «Когда весь мир обратится в веру христианскую, тогда мы обречем вечный покой»⁵, иными словами, весь мир уверует, и по порядку все народы станут креститься в последние времена, и все страны и все народы начнут веровать, как и сия ныне названная Пермская земля. Столь долгое время сохраняла она [язычество], сколь многие годы оставалась некрещеной, пока в последнее время не была крещена милостью Божией и состраданием и содействием славного Стефана, который воссиял в земле Пермской лучами святого учения, просвещая сидящих во тьме идольского обмана.

Сей епископ проявил большое усердие и показал большое терпение, трудясь и подвизаясь, наставляя людей, обращая их в христианство, научая и сообщая все возвещающие о Боге слова православной веры, произнося из уст св. Евангелие, им и божественными апостольскими учениями наставляя, и речи пророков и иносказания объясняя, сей муж, знаток богословия, который, Ветхое и Новое учение в устах неся и божественным духом направляем, просвещал их истинным знанием о Боге. Не только святым крещением просветил их, но и наделил их азбукой, и книжным разум даровал им, и письмо (грамоту) передал им, и сложил новую азбуку, составил неизвестную азбуку пермскую, и той письменной речью

многие книги христианские записав, передал им, чего они дотолé никогда не имели.

Ибо прежде крещения пермяки не имели у себя письменности, и не понимали написанного, и совсем не знали, что такое книги. У них были только сказители (повествователи), которые рассказывали басни (вымыслы) о бытии, о мироздании и об Адаме, и о разделении языков, и о прочем, повествуя больше лживо, чем истинно, и так проводили они жизнь свою и растрачивали [бессмысленно] все годы свои. Но Бог, милостивый человеколюбец, который все устраивает на пользу людям и не оставляет рода человеческого без разума, но всеми способами направляет людей на познание и на спасение, пощадил и помиловал людей пермского племени, выдвинул и поставил им сего Стефана, мужа прекрасного и благочестивого, и послал [его] к ним, подобно тому, как в древности *Веселила* ⁶ в Израиле исполнил мудрости и искусности. Он же [Стефан] дал им грамоту, новую азбуку пермскую сложил и сочинил.

И когда это произошло, многие из людей, видевшие и слышавшие это, удивлялись, будучи не только в Перми, но и в иных градах и землях, более же всего поражались в Москве и говорили: «Как сей умеет составить книги пермские и откуда ему дана [такая] премудрость?» Другие же говорили: «Вот воистину новый философ, как прежде был Константин, называемый Философ, который создал азбуку словенскую, в 38 букв, так и этот сложил азбуку из 24 букв, подобную греческой азбуке по числу букв». Одни буквы по образцу греческих писмен, другие же на основе звуков пермского языка. Первая же буква в ряду «азь», как и у греческой азбуки. Прежде всех грамот была еврейская грамота, ее взяли за образец греческие книжники ⁷, затем, после них римская и прочие иные многие, спустя много лет русская, после же всех — пермская. У еврейской азбуки название первой буквы «алеф», а у греческой азбуки название первой буквы «алф», «вита» ⁸, у угорской (венгерской) «афака», «васака», а у русской — «азь», у пермской — «а», «бурь»; говорят, что не однажды еще возрастет количество букв: много имеется письменных знаков, азбук. А вот названия букв азбуки пермской: *а, бур, гаи, дои, е, жои, зата, зита, и, коке, лей, мено, нено, во, пьи, реи, сии, таи, цю, черы, шоуя, е, ю, о* ⁹.

Некоторые, скудные умом, говорили: «Зачем были созданы книги пермские или ради чего составлена была азбука пермская?» Прежде ведь, издавна, не было в Перми грамоты, исконный обычай был таков, и так, когда они [пермяки] прожили жизнь свою без нее, ныне, в скончании лет, в последние дни, на исходе седьмой тысячи лет ¹⁰, более того, когда оставалось так мало времени — только 120 лет — до конца мира, стоило ли задумывать создание письменности? А если это и было нужно, то не следовало бы уже готовую русскую

грамоту и передать им, и научить ей их, имеются ведь знаки письменные, которые издавна, по исконному обычаю, имеют народы у себя, как, например, еврейские, греческие, римские. Что следует возразить на это, что подобает отвечать? Ясно же, что обучаемся от Писания, а не иначе как-нибудь, но, однако, в Писании сказано, что родившийся от Адама первозданного его сын *Сиф*¹¹ самый первый обучился грамоте еврейской. И от Адама до потопа прошло 2242 года. После потопа же было столпотворение, когда разделились языки, как и в Библии пишется. И как разделились языки, так разделились и нравы, и обычаи, и уставы, и законы, и знания народов.

Как я говорил, есть народ египетский, ему досталось землемерие (геометрия), а персам и халдеям (вавилонянам) и ассирийцам — астрономия, астрология, волхование, колдовство и прочие суетные ухищрения человеческие, евреям же — святые книги, поскольку те от Сифа научились грамоте. Той же азбукой и Моисей потом писал о бытии всего мира книги бытийные, в которых написано, как Бог сотворил небо и землю и все, что на ней, и человека, и прочее все, по порядку, как пишется в Бытии.

Эллинам досталась грамматика, риторика и философия. Сначала эллины не имели у себя письменности на своем языке, но «афинейскою» (финикийскою) азбукой вынуждены были записывать свою речь, и так было много лет¹². И был у них философ по имени *Панамид* (*Паламед*)¹³, который впоследствии создал грекам азбуку, начав так: «альфа», «бета», и установил число букв, равное 16, только для греков изобрел он это. Потом, спустя некоторое время, другой книжник, по имени *Кадм Милисий*¹⁴, прибавил к ним еще 3 буквы, благодаря этому они [греки] стали 19 буквами свою азбуку писать. Потом же другой книжник, по имени *Симонид*¹⁵, изобрел и прибавил к ним еще 2 буквы, и уже получается число букв тех 21. Некий Епихарий, толкователь книг, изобрел и прибавил еще 3 буквы, и так составила азбука греческая, число букв которой равно 24.

Потом, спустя много лет, некий Дионис, искусный книжник, шесть двоегласных букв изобрел¹⁶, после этого другой философ 5 букв прибавил, а иной книжник 3 буквы, которыми числа пишутся: 6, 90 и 900¹⁷. И так за много лет многие философы собрали азбуку греческую с числом букв 38¹⁸. Потом, по истечении многих лет, Божьим промыслом объявились 70 мужей-мудрецов, которые перевели книги с еврейского языка на греческий.

Сколь много лет многие философы греческие собирали и составляли азбуку греческую, и едва составили многими трудами, и за многие времена едва сложили. Пермскую же грамоту один чернец составил, один сочинил, один *калугер*¹⁹, один монах, один инок

Стефан, один епископ присного Бога в одно время, а не во многие времена и лета, как греки, но один инок, один, заточивший себя в уединении и уединившийся, один, уединенный, один у единого Бога помощи прося, один единого Бога на помощь призывая, один единому Богу молясь и говоря: «Боже и Господи, наставник премудрости и податель разума, учитель неразумных и заступник нищим, утверди и вразуми сердце мое и дай же мне слово, отчее слово, чтобы я прославил Тебя во веки веков!» И так один инок, помолившись единому Богу, и азбуку сложил, и грамоту создал, и книги перевел за несколько лет, так Бог помогал ему. А те многие философы — за много лет: семь философов едва азбуку составили, а 70 мужей-мудрецов сделали переложение: перевели книги с еврейского на греческий язык.

Потому, я считаю, русская грамота достойнее греческой, что ее святой муж создал, подразумеваю Кирилла Философа, а греческий алфавит греки некрещеные, язычники составляли. Также потом и пермская грамота, которую создал Стефан, стала выше греческой. Там Кирилл, здесь Стефан, оба сии мужа добродетельны и мудры были и равны по мудрости, оба одинаково равный подвиг совершили и взяли на себя, и ради Бога потрудились оба, один — ради спасения славян, другой — пермяков, как два светила светлых, просветили они народы, и такой высокой похвалы достойны были, ибо говорят, что память праведным с похвалами бывает, а похваляемому праведнику возрадуются люди. Они ведь Бога прославили: «Славящих меня,— сказал,— прославлю». Но Кириллу Философу содействовал часто брат его Мефодий; или грамоту складывать, или азбуку составлять, или книги переводить. Стефану же никто не оказался помощником, разве только один Господь Бог наш, прибежище и сила, помощник нам, находящимся в большой скорби.

Если кто-то скажет слово против пермской грамоты, хуля ее и говоря, что не искусно устроена азбука сия и следует ее исправлять, тем всем отвечаем: и греческую грамоту также многие исправляли — Акула и Сумаховы люди и другие многие, хорошо исправлять готовое, легче потом потрудиться, нежели начать и создать.

Если кто-то спросит греческих книжников, говоря: «Кто вам создал азбуку или перевел книги, и в какое время это было сделано?», то редко кто-нибудь из них может дать ответ и не многие знают. А если спросишь русских книжников, говоря: «Кто вам создал азбуку и книги переложил?», то все знают и сразу отвечают, говоря: «Святой Константин Философ, называемый Кирилл, тот нам азбуку создал, и книги перевел с греческого языка на русский с братом присным Мефодием, который впоследствии стал епископом Моравским». В какое время это было? «В царствование Михаила, царя греческого, царствовавшего в Царьграде, при патриархе Фотии, в

лета царя Бориса, князя Болгарского и Ростислава, князя Моравского, и Коцела, князя „болотного“, в княжение великого князя всея Руси Рюрика, нечестивого и некрещеного, за 120 лет до крещения Русской земли, а от создания мира в лето 6363»²⁰.

И если спросишь пермяков, говоря: «Кто вас избавил от трудов идолослужения и кто вам грамоту создал, и книги перевел?», то с состраданием и с радостью говорят, и поспешно с усердием отвечают, говоря: «Добрый наш дидаскал Стефан, с обеих сторон просветивший нас, во тьме идолослужения сидящих, не только святым крещением просветил нас, но и святыми книгами отовсюду озарил нас, двойные лучи Божьей благодати обильно испуская на нас, его же нам дал Господь Бог, „не по беззакониям нашим даровал нам его и не по грехам нашим воздал нам. Ибо, как высоко небо над землею, так велика милость Господа к нам“²¹.

Сей Стефан много доброго даровал нам: проситель великих благ, он даровал нам закон, веру, крещение, он даровал нам знание грамоты и понимание книг, он сам сложил нам азбуку, грамоту нашу он нам создал, один полагал, думал, составлял, и никто ему не помогал, и никто же его не поучал, не исправлял, но един Господь Бог помогал ему и вразумлял его <...> Един Господь Бог Израилев, имеющий великую милость, возлюбил нас, помиловал нас, даровал нам своего угодника Стефана, который перевел нам книги с русского на пермский язык». Когда же это было и в какое время? Недавно, но, я думаю, от создания мира в лето 6813, в царство Иоанна, царя греческого, в Царьграде царствовавшего, при архиепископе Филофее, патриархе Константина града, в царство Мамаю над татарами в Орде и в Сарае, которое невечно, при великом князе Дмитрие Ивановиче, в те дни, когда на Руси не было архиепископа и митрополита, но ожидали прибытия митрополита из Царьграда, которого даст Бог.

Таковы дары, которые даровал Бог земле Пермской, так получила начало вера, и была изгнана из общества злоба, так и крещение приняли пермяки, и грамотой были наделены, так христиан прибавлялось, так стадо словесное увеличилось, так виноград Господа Саваофа прекрасно цвел, изобилуя плодами добродетели, так и чин церкви Христовой, соблюдая порядок, умножался <...>

Примечания

1. Псалтырь, 85, 9. Далее — *Пс*.
2. Книга Пророка Исаии, 42, 10. Далее — *Ис*.
3. *Ис.*, 9, 2.
4. Вероятно, имеется в виду *Феодорит*, епископ Кирский (ок. 386/93—457) — видный церковный деятель, богослов, толкователь Священного Писания.

5. В тексте рукописи: «егда весь миръ приобретаемъ, тогда в гробъ вселимся».

6. *Веселиил* — «сын Урии, знаменитый художник, во дни Моисея, исполненный Духа Божия, мудрости, разумения, ведения и всякого искусства, которому вместе с Аголианом было поручено, по повелению Божию, устройство скинии со всеми ее принадлежностями» (Исход, 31, 2 и далее) — См.: Библейская энциклопедия. М., 1990. С. 117—118.

7. На самом деле древнееврейское, или так называемое квадратное письмо, так же как греческое и арамейское, возникло на основе финикийского письма.

8. Имеются в виду названия двух первых букв греческого алфавита — *альфа* и *бета*. В классический период греческой письменности *бета* обозначала звук [б]. В византийскую эпоху, в результате исторических изменений, звук [б] трансформировался в звук [в]. Поэтому вторая буква греческого алфавита получила новое название *вита*. См. Истрин В. А. Возникновение и развитие письма. М., 1965. С. 40.

9. Названия букв пермской азбуки варьируются по спискам «Жития Стефана Пермского» и приводятся в разночтениях издания В. Г. Дружинина (См.: Русская речь. 1993. № 1. С. 63). Интересны примечания Н. М. Карамзина к его V тому Истории Государства Российского, в котором он приводит состав и названия всех букв пермской азбуки, взятой им из так называемых Архивных бумажников Миллера (ЦГАДА ф. 199. Оп. 2. Д. 411/23; см. Карамзин Н. М. История Государства Российского. Т. V. М., 1993. С. 265, 406).

10. Как известно, летосчисление в Древней Руси велось от сотворения мира; по византийской хронологии от сотворения мира до рождения Христа прошло 5508 лет.

11. *Сиф* — третий сын Адама, который был предком Еноха, Мафусала и Ноя. Предание приписывает ему изобретение букв (См.: Библейская энциклопедия. М., 1990. С. 654—655). В Толковой Палее, древнерусском компилятивном памятнике XIII века, Сиф назван как создатель еврейского алфавита: «И был же Сиф, муж праведный, ему вручены были еврейские письмена, чтобы познали сыновья человеческие чудеса Господа Бога. С этого началась грамота» (перевод сделан нами по изданию: Палея Толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. Труд учеников Н. С. Тихонравова. М., 1892. С. 98).

12. Как уже отмечалось ранее, греческое письмо произошло от финикийского, возникшего, в свою очередь, на основе египетского; его формирование происходило в конце X — начале IX веков до н. э. на островах Эгейского моря, находившихся под сильным финикийским влиянием. Греческие источники упоминают о

финикийском происхождении греческого письма, однако греки существенно переработали финикийский алфавит, приспособив его для своего языка. Как и финикийское, греческое письмо является в своей основе буквенно-звуковым, однако греки ввели в свой алфавит буквы для обозначения гласных звуков (См.: Истрин В. А. Указ. соч. С. 334 — 336).

13. *Паламед* — греческий мифологический герой, сын Навплия и Климены. Ему греки приписывали изобретение (или упорядочение) алфавита, введение чисел, мер длины и веса, а также счета времени по годам, месяцам и дням. Он научил людей наблюдать за движением небесных светил и определять по ним курс кораблей, а также распределять ежедневный прием пищи на три раза (См.: Мифологический словарь. М., 1991. С. 423). Паламед, «изобретатель многого» упоминается в таких ранних памятниках древнерусской литературы, как Изборник Святослава 1073 года, Хроника Георгия Амартола.

14. *Кадм Милетский* (VI или VII вв. до н. э.) — в греческой мифологии сын финикийского царя Агенора, основатель Фив (в Беотии). В историческое время Кадму приписывали создание греческого алфавита (см.: Мифологический словарь. С. 268). О его личности мало что известно.

15. По всей вероятности, это *Симонид Кеосский* (556—468 до н. э.), которому приписывается введение некоторых новых греческих букв, в том числе *пси* и *омеги* (См. Видеман Ф. Э. Начатки исторического греческого письма. Опыт исследования в области древнейшего греческого алфавита. Лейпциг, 1910).

16. В тексте Жития Стефана Пермского: «шесть двогласных слов изобре́те». По-видимому, речь идет о введении букв, обозначающих дифтонги.

17. Имеются в виду три греческие буквы *дигамма* — 6, *коппа* — 90 и *сампи* — 900, вышедшие из употребления в греческом языке, но сохранившиеся для обозначения цифр. В греческой цифровой системе для обозначения единиц, десятков и сотен использовались буквы греческого алфавита. Тысячи обозначались теми же буквами с постановкой штриха внизу слева от буквы. (См. Истрин В. А. Указ. соч. С. 516). Эту же систему цифровых знаков унаследовали из византийских источников составители славянских азбук — глаголицы и кириллицы.

18. Отрывок о числе букв греческого алфавита восходит к фрагменту Сказания черноризца Храбра «О письменах», в основе которого — фрагмент из Схолии к Грамматике Дионисия Фракийского. Число букв греческого алфавита (38) у черноризца Храбра, как и у Епифания Премудрого, несомненно, является вымышленным и

призвано подтвердить авторитетность славянской азбуки, состоящей из 38 букв.

19. *Калугер* — «почтенный старец, монах» (Словарь русского языка XI — XVII вв. М., 1980. Вып. 7. С. 38).

20. Эта часть Жития Стефана находится под значительным воздействием известного сочинения Черноридца Храбра (болгарский писатель конца IX — начала X вв.) «О письменах», рассказывающего об истории славянской письменности. У него заимствует Епифаний и дату возникновения славянской грамоты 6363 год (855 г.), и имена греческого, болгарского, моравского и паннонского князей, при которых Кирилл и Мефодий выполняли свою историческую миссию, и саму идею о превосходстве славянской азбуки над греческой по причине святости ее создателя, и другие мотивы.

21. Пс. 102, 10—11.

*Перевод и примечания кандидата
филологических наук Г. С. Баранковой*



Е. Р. Дашкова
и
Российская Академия

*В. П. ВОМПЕРСКИЙ,
доктор филологических наук*

24 января 1783 года новым директором Академии наук в Санкт-Петербурге, которая занималась исследованиями в области физико-математических и естественно-биологических наук, была назначена Екатерина Романовна Дашкова. Это была женщина разносторонних дарований. Она профессионально занималась историко-филологическими и естественно-научными исследованиями, была крупным филологом, писателем, переводчиком, минералогом, ботаником.

Е. Р. Дашкова с большим уважением относилась к ученым. В это время президентом Академии наук был гетман Малороссии граф К. Г. Разумовский, который делами Академии совсем не занимался. Фактически руководил ею директор С. Г. Домашнев. Человек невежественный и деспотичный, восстановивший против себя почти всю Академию. Академики были вынуждены заявить протест в Сенат. Вместо него была назначена Е. Р. Дашкова с еще большими полномочиями, чем ее предшественники.

Благодаря усилиям Е. Р. Дашковой увеличивается число академиков, углубляются научные исследования, оживает деятельность академической гимназии и университета. Было организовано чтение публичных лекций по различным вопросам естественных и гуманитарных наук на русском языке. Она наладила работу академической типографии, навела порядок в финансовых делах Академии, изгнав из нее лихоимцев и взяточников.

По ее настоянию и ходатайству архитектор Дж. Кваренги построил главное здание Академии наук на набережной Васильевского острова.

23 октября 1783 года состоялось открытие Российской Академии, предназначенной для изучения русского языка и словесности, отече-

ственной истории. Российская Академия была учреждена по предложению Е. Р. Дашковой.

Ее перу принадлежит «краткое начертание императорской Российской Академии» (устав), которое было утверждено Екатериной II.

Устав содержал 19 статей. Перед Российской Академией были поставлены следующие задачи: «Вычищение и обогащение русского языка, общее установление употребления слов оного, свойственное оному витийство и стихотворство. К достижению сего предмета должно сочинять прежде всего русскую грамматику, русский словарь, риторику и правила стихотворения».

В составе Российской Академии должны быть 60 постоянных членов Академии, в их числе и два непреременные секретаря. Главное условие ставится перед кандидатами: члены Академии должны избираться «из известных людей, знающих российский язык». Здесь речь идет о филологах — ученых и литераторах. Число их в Академии должно быть не менее 35-ти. С 1783 по 1796 год было избрано 78 действительных ее членов. Они избирались пожизненно. «На убылое место» кандидата в члены Академии может представлять каждый член Академии и ее председатель.

Председатель Академии и непреременные секретари «имеют как почести, так и голос, равные с прочими членами Академии». Научные заседания в Академии проводятся один раз в неделю. В течение всего времени председательства Е. Р. Дашковой в Российской Академии произошло 364 научных собрания. Она сама руководила 263 собраниями.

Для достижения целей, с которыми была учреждена Российская Академия, необходимо было заручиться содействием тех, кто был готов положить свой труд в общее дело. Поэтому выбор первых членов Российской Академии производился ее президентом Е. Р. Дашковой (в старых документах ее часто именуют «председателем»). В состав Академии вошли наиболее известные ученые того времени, преимущественно члены Академии наук в Санкт-Петербурге, профессора Московского университета и других высших учебных заведений. Лучшие писатели, составлявшие красу и гордость тогдашней литературы, по праву заняли свои места в академии русского языка и словесности.

В числе членов Российской Академии были и представители высших слоев русского образованного общества, воодушевленных любовью к родному языку и литературе, деятели народного просвещения.

Президентом Академии была назначена Е. Р. Дашкова. В состав Академии вошли *филологи* А. А. Барсов, Д. М. Соколов, Амвросий Серебрянников, П. А. Алексеев, Аполлос Байбаков, *писатели* И. П.

Елагин, М. М. Херасков, А. В. Храповицкий, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, Я. Б. Княжнин, В. П. Петров, И. Ф. Богданович, В. В. Капнист, И. И. Хемницер, Д. И. Хвостов, *историки и археографы* И. Н. Болтин, М. М. Щербатов, А. Н. Оленин, А. И. Мусин-Пушкин, *архитекторы* В. И. Баженов, Н. А. Львов, *натуралисты* И. И. Лепехин, Н. Я. Озерецковский, С. Г. Забелин, *математики и астрономы* П. Б. Иноходцев, С. К. Котельников, С. Я. Румовский, *деятели просвещения* С. Е. Десницкий, И. И. Мелиссино, Ф. И. Янкович де Мириево, *государственные деятели* И. И. Шувалов, Г. А. Потемкин-Таврический, А. А. Безбородко, А. С. Строганов, О. П. Козодавлев, Р. И. Воронцов, *церковные деятели* — митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил Петров, епископ Нижегородский Дамаскин Семенов-Руднев, архиепископ Псковский и Рижский Иннокентий Нечаев и другие.

Главным предприятием Российской Академии в период руководства Е. Р. Дашковой был «Словарь Академии Российской» (1789—1794), принесший громадную пользу культуре и просвещению России. Это был первый толковый словарь русского литературного языка — важнейшая веха в истории науки о русском языке. В словаре была разработана система толкования значения слов, которая легла в основу определения лексико-грамматического значения всех последующих словарей. Впервые в истории отечественной лексикографии составители описали принципы стилистической характеристики слов русского языка.

В 1784—1787 годах Российской Академия издала так называемые «Аналогические таблицы» в пяти частях. Это был предварительный словник для «Словаря Академии Российской». Он содержит в себе более ста тысяч слов, расположенных по алфавиту. При составлении «Аналогических таблиц» были использованы рукописные словари лексикографов XVIII века А. И. Богдановича и К. А. Кондратовича, печатные словари, церковные книги, произведения древней и новой литературы. Таблицы предназначались для раздачи членам Российской Академии с тем, чтобы они определяли значения слов, описывали их стилистическую характеристику, дополняли этот список новыми словами и иллюстративными примерами. На основе этой предварительной работы был составлен и напечатан «Словарь Академии Российской» (Сводный каталог русской книги XVIII века. 1725—1800. М., 1962. Т. 1. С. 36).

Общий план словаря и основные его начала были составлены неперменным секретарем И. И. Лепехиным и академиками С. Я. Румовским, Н. Я. Озерецковским, А. П. Протасовым и П. Б. Иноходцевым.

Е. Р. Дашкова приняла самое непосредственное участие в разработке плана словаря и словарной работе. Ею собрано свыше 700 слов

на буквы «Ц», «Ш», «Щ», описана семантика, дана их грамматическая и стилистическая характеристика. Ее перу принадлежит описание семантики многих слов, выражающих нравственные и этические понятия, например, *друг, дружба, нрав, нравственность, неверность, нравоучение* и т. д.

«Словарь Академии Российской» составлялся в течение 11 лет, за срок очень короткий (Французская Академия, например, создавала толковый словарь французского языка на протяжении 60 лет). Из 60 членов Российской Академии в составлении Словаря участвовали 47, так что «Словарь Академии Российской» был общим трудом не только по названию.

«Словарь Академии Российской» появился в эпоху, для которой были характерны поиски национальной языковой нормы и стремление к регламентации речевого употребления. Это нормативный словарь, описавший в исторической перспективе лексическую систему русского литературного языка второй половины XVIII века. Словарь был издан в шести частях (томах). В нем помещено 43257 слов, расположенных по гнездовому, этимологическому принципу.

Выдающиеся деятели отечественной культуры — Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, В. Г. Белинский, И. И. Срезневский, В. В. Виноградов и др. — высоко ценили «Словарь Академии Российской».

По распоряжению Е. Р. Дашковой 5 августа 1794 года в Академии был учрежден грамматический отдел, которому было поручено составить новую «Российскую грамматику», руководствуясь «наиболее грамматиками Максима Грека [имеется в виду московское издание «Славенской грамматики» Мелетия Смотрицкого 1648 г. — В. В.] и Ломоносова» (Цит. по кн.: Сухомлинов М. И. История Российской Академии. СПб., 1888. Вып. 8. С. 195).

Узнав, что профессор Московского университета А. А. Барсов, ученик М. В. Ломоносова, написал «Российскую грамматику», Е. Р. Дашкова обратилась с просьбой выслать рукопись его труда, чтобы использовать новейшие достижения грамматической мысли в работе над Словарем и над «Российской грамматикой», над которыми трудились члены Российской Академии. (В настоящее время «Российская грамматика» А. А. Барсова издана. Подготовка текста и текстологический комментарий М. П. Тоболовой. Под ред. и с предисловием Б. А. Успенского. М., 1981)

Интересны филологические взгляды самой Е. Р. Дашковой, основанные на философии рационализма (картезианство), эмпиризма и сенсуализма. Разум как категория вечная и неизменная определяет принципы языковедческих взглядов Е. Р. Дашковой. Разум, понимаемый ею в картезианском смысле как категория вечная и неизменная, дает возможность отделить случайное от необходимого, частное

и несущественное от важного и существенного, выявить познаваемую субстанцию. Но рациональное познание, считает она, невозможно без чувственного опыта. Философские сочинения Е. Р. Дашковой демонстрируют попытку вывести содержание человеческого сознания из чувственного опыта. Она считала, что уму свойственна особая сила, вызываемая внутренними принципами, независимая от опыта.

Подобное соединение в теории разных форм познания — рационализма и сенсуализма на первый взгляд кажется противоречивым и необычным, на самом деле является естественным для состояния филологической науки XVII—XVIII веков. Как справедливо отмечают историки науки, «во всей этой достаточно сложной картине рационализма XVII века ведущей линией, движущим импульсом является, однако, одно — выражаясь современным языком, превращение рационализма из теории в метод» (Степанов Ю. С. Пор-Рояль в европейской культуре // Грамматика общая и рациональная. М., 1990. С. 14—15).

Е. Р. Дашковой особенно близки были взгляды Д. Дидро, М. Вольтера, Монтескье, К. Гельвеций, П. Гольбах. Она перевела сочинение К. Гельвеция «Об уме» под заглавием «О источнике страстей» (Журнал «Невинное упражнение». М., 1763. Месяцы январь — июнь), отрывок из 1-го тома трактата П. Гольбаха «Система природы» (Опыт трудов Вольного российского собрания при Императорском Московском университете. М., 1774. Ч. I), «Опыт о эпическом стихотворстве» М. Вольтера (Дашкова Е. Р. Опыт о эпическом стихотворстве Вольтера. СПб., 1781). В духе французских просветителей она написала две статьи с энциклопедическим толкованием содержания понятий *воспитание* и *такт* (Собеседник любителей русского слова. Ч. I. СПб., 1783).

Филологические взгляды Е. Р. Дашковой покоились на усвоении идей рациональной и универсальной грамматики Пор-Рояля. Ей были близки идеи французских писателей А. Арно и К. Лансло, которые полагали, что с помощью их метода, базирующегося на анализе мысли с позиций способности разума, можно изучать языки разных систем.

В конкретных исторических условиях 80—90-х годов XVIII века Е. Р. Дашкова воспринимала себя прямым продолжателем филологического дела М. В. Ломоносова, считала себя ученицей гениального русского ученого. Особенно видна органическая связь с филологическими воззрениями М. В. Ломоносова в программной речи об исследованиях по русскому языку, которую она произнесла 23 октября 1783 года при открытии Российской Академии. В этой речи, построенной по законам ораторского жанра XVIII века и сотканной на аллюзиях, заимствованных из посвящения великому кня-

зю Павлу Петровичу «Российской грамматики» М. В. Ломоносова, она говорила: «Вам известны обширность и богатство языка нашего. На нем сильное красноречие Цицероново, убедительная сладость Демосфенова, великолепная Вергилиева важность, Овидиево приятное витийство и гремющая Пиндара лира не теряют своего достоинства. Тончайшие философские воображения, много-различные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи (...) Многообразные древности, рассыпанные в пространствах отечества нашего, обильные летописи, дражайшие памятники праотцов наших, каковыми немногие из существующих ныне европейских народов поистине хвалиться могут, представляют упражнению нашим обширное поле» (Известия о учреждении и упражнениях императорской Российской Академии//Сочинения и переводы, издаваемые Российскою Академиею. Ч. I. СПб., 1805. С. 9—10).

Е. Р. Дашкова восприняла, как свою, филологическую концепцию М. В. Ломоносова, в которой были органически объединены проблемы общего языкознания, изучения грамматики, словарного состава и стилистической дифференциации русского языка, а также проблемы теории словесности и художественного творчества. Однако ей оказалась чужда идея сравнительно-исторического изучения языков, сформулированная М. В. Ломоносовым. Она не смогла с достаточной точностью знания разграничить и описать различие между русскими и старославянскими элементами в истории русского языка, так как не обладала навыками научной историко-филологической подготовки.

Велики заслуги Е. Р. Дашковой не только перед русской наукой. Она много сделала также для русской литературы и журналистики.

Ее «Записки», законченные в Троицком 27 октября 1805 года, не просто собрание дневниковых записей, а сочинение, построенное по законам литературной теории. Это подтверждает и исследователь творчества Е. Р. Дашковой Г. Н. Моисеева: «Все произведение пронизано просветительской идеей общественного блага, служению которому (...) следовала Е. Р. Дашкова (...) Чувство долга — постоянная тема ее общественной и частной жизни, что характерно для литературы русского классицизма конца XVIII — начала XIX в. (...) Пожалуй, самым интересным в ее „Записках“ предстает образ автора. Это образованная, умная, энергичная женщина сделала много для развития науки и просвещения в России конца XVIII в.» (Моисеева Г. Н. О «Записках» Е. Р. Дашковой//Екатерина Дашкова. Записки. 1743—1810. М., 1985. С. 269, 271). «Записки» Е. Р. Дашковой — одно из лучших произведений мемуарного жанра в русской литературе XVIII века.

Е. Р. Дашкова — автор нескольких комедий, из которых наибольшей известностью пользовалась «Тоисиоков, или Человек бесхарактерный». Главный герой Тоисиоков не имеет ни воли, ни характера. В XVIII веке считали, что в пьесе изображен Л. А. Нарышкин, который играл роль шута при дворе Петра III и Екатерины II. Ему противостоит главная героиня Решимова. Она обладает волей, энергией и характером. В Решимовой выражены черты личности автора пьесы (Дашкова Е. Р. Тоисиоков. Комедия в пяти действиях. СПб., 1786; см. также: Российский феатр, или Полное собрание всех феатральных сочинений. 1788. Ч. XIX. С. 239—317). В 1799 году Е. Р. Дашкова написала драму «Свадьба Фабиана, или Алчность к богатству наказуемая», которая до сих пор находится в рукописи. Эта пьеса представляет собою переработку и продолжение драмы А. Коцебу «Бедность и благородство души».

В 1763 году Е. Р. Дашкова основала ежемесячный литературный и философский журнал «Невинное упражнение»; в 1786 году — научный и литературный журнал «Новые ежемесячные сочинения» (1786—1796), всего вышел 121 номер журнала, редакторы-издатели академики Н. Я. Озерецковский и А. П. Протасов; в 1786 году — журнал «Российский феатр, или полное собрание всех российских феатральных сочинений» (1786—1794), в котором печатались лучшие произведения русской драматургии того времени: комедии, драмы, оперы (всего вышло 36 номеров журнала). Е. Р. Дашкова была фактическим руководителем и издателем журнала «Собеседник любителей русского слова, содержащий разные сочинения в стихах и прозе некоторых российских писателей» (1783—1784). Она печатала свои прозаические и стихотворные произведения, переводы в этих журналах, но, как правило, они публиковались без указания имени автора или под псевдонимом, а поэтому полного списка ее сочинений нет. И здесь при внимательном изучении русской журналистики возможны неожиданные открытия. (В настоящее время библиография оригинальных, переводных сочинений и эпистолярного наследия Е. Р. Дашковой представлена в следующих изданиях: Голицын Н. Н. Библиографический словарь русских писательниц. СПб, 1889. С. 77—82; История русской литературы XVIII века. Библиографический указатель. Л., 1968. С. 240—244.)

Таковы главные итоги жизни и творчества выдающейся русской женщины — Екатерины Романовны Дашковой.

Таков ее поистине неограниченный вклад в русскую науку и культуру.



Русские учебники у австрийских сербов в XVIII — начале XIX веков

А. П. ШУБАРИЧ

К Петру I в 1718 и 1721 годах с прошениями «о помощи к просвещению» обращался глава сербской православной церкви на территории монархии Габсбургов Моисей Пётрович (Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в XVIII веке. Сборник документов. М., 1984. № 41). В ответ было решено послать к австрийским сербам «учителя славенского и латинского языков», а также богослужебные книги и в нескольких экземплярах букварь Ф. Прокоповича «Первое учение отроком», «Славянскую грамматику» М. Смотрицкого, «Лексикон треязычный» Ф. Поликарпова (Кулаковский П. А. Начало русской школы у сербов в XVIII веке. СПб., 1903. С. 77).

Не случайно все три произведения вошли в состав книжной посылки в сербские земли. Букварь Феофана Прокоповича «Первое учение отроком» является учебником нового типа, написанным «не высоким славянским диалектом, а просторечием». Для обучения грамоте в нем предлагались читателю для заучивания букв не молитвы и заповеди, а толкование заповедей, что требовало от учеников понимания мыслей автора и их усвоения (Афанасьева А. Т. Светская кириллическая книга в России в XVIII веке. Л., 1983. С. 94).

Другой актуальной для петровского времени учебной книгой, призванной популяризировать сведения о церковнославянском языке, оказалась «Славянская грамматика» Мелетия Смотрицкого. В предисловии к «любомудрому читателю» новый издатель книги — Федор Поликарпов так объяснил причину ее переиздания в 1721 году: «...славянская грамматика в училищах не преподававшаяся за оскудением сих книг, и от сего нужда зависит учащимся не малая» и указывал, что учителя, после обучения учеников азбуке, часослову и псалтири, должны приступить к преподаванию грамматики (Смотрицкий М. Славянская грамматика. М., 1721).

Еще в 1704 году Федор Поликарпов при участии братьев Лихудов и Стефана Яворского в Москве выпустил «Лексикон треязычный сиречь речений древних славенских, еллиногреческих и латинских сокровище из различных древних книг собранное и по славенскому алфавиту в чин расположенное». В обращении к читателям была подчеркнута необходимость знания латинского языка.

В отборе этих книг участвовал, вероятно, не только директор Московской типографии Ф. Поликарпов, но и старший справщик (редактор) и одновременно один из ведущих синодальных переводчиков — Максим Терентьевич Суворов. Будучи в Праге в числе четырех посланцев Петра I, он переводил немецкие книги. Именно его, человека высокой культуры и образования, «за свою волю» окончившего полный курс философии университета в Праге, Синод «определил» в качестве учителя для австрийских сербов. К будущей же педагогической миссии он отнесся с большой ответственностью (Мыльников А. С. Русские переводчики в Праге. 1716—1721 // Проблемы литературного развития России первой трети XVIII века. Л., 1974. С. 280).

М. Т. Суворов, понимая, что выданных учебников будет мало, предложил Синоду купить его личную библиотеку, собранную еще в Праге, и на вырученные деньги (50 рублей) приобрести со складов типографии «славянорусские книги». Он также хотел получить литеры учебной азбуки, чтобы, приехав на место, начать печатать первые буквари для сербов. Однако Синод не принял его предложения. Распродав самостоятельно собственные книги, на вырученные деньги и часть полученного за год вперед жалованья (200 рублей) Суворов купил нужные «десятисловия и азбуки», за которые при проезде до Вены платил он «многократно немалое мыто» (Описание документов и дел Святейшего Правительствующего Синода. Т. II. Ч. I. СПб., 1879. Прилож. С. 457—458).

За время своего пребывания с 1726 по 1731 годы у австрийских сербов М. Т. Суворову удалось открыть первые школы в двух городах: Сремских Карловцах и Белграде. Поначалу русский учитель привлекал учеников «даровой раздачей азбук и десятисловий». Но их, как и грамматик, оказалось крайне мало. Позднее Суворов с огорчением сообщал в Синод, что «пожалованные грамматики все розданы, многие хотят иметь их, а взять негде» (Кулаковский П. А. Указ. соч. С. 99). Правда, в небольшом количестве учебные книги можно было купить у русских офеней и книжных купцов, торговавших с начала XVIII века среди православного населения Австро-Венгрии. Поэтому в письме митрополиту Моисею Пётровичу от 31 марта 1727 года Суворов просил «заповедати начальникам духовным в тех местах, где наши купцы обыкли книги продавать, чтобы те начальники все грамматики от них куплея взимали прежде,

нежели иным продавать» и предлагал митрополиту заранее оплатить книготорговцам оптовую продажу книг «за надлежащую цену».

Вскоре австрийские власти серией декретов запретили русским купцам приезжать в монархию. Но после небольшого перерыва учебные книги из России различными путями, в том числе и контрабандными, стали поступать к югославам.

Неожиданно у руководства Карловацкой митрополией появилась возможность переиздать некоторые из книг, привезенных русским учителем. В это время в состав монархии Габсбургов вошла часть Валахии с городом Рымником. Там находилась кириллическая типография, где под наблюдением сербских митрополитов Моисея Петровича, а затем Викентия Иоанновича, в 1726, 1727, 1734 годах был перепечатан букварь Ф. Прокоповича «Первое учение отроком».

Трехкратное переиздание русского букваря сразу же после его получения указывает на огромные потребности, испытываемые сербским народом даже в такой первоначальной школьной книге, как букварь. До приезда М. Т. Суворова у сербов не было своего букваря, т. к. букварь Киприана Рачанина 1717 года все еще оставался в рукописном виде. О большом спросе на букварь Ф. Прокоповича свидетельствует и факт его трехкратного выхода в Венеции. Работавший там греческий типограф Димитрий Феодосий разделил «Первое учение отроком» на две части — букварь и катехизис, выпустив их отдельно. Часть под названием «Букварь мали», напечатанная в 1764 году, была распродана мгновенно и впоследствии перепечатывалась в 1792 и 1800 годах (Михајловић Г. Српска библиографија XVIII века. Нови Сад, 1964).

Сербское издание «Славянской грамматики» М. Смотрицкого было отпечатано в Рымнической типографии только в 1755 году за счет «иждивения» нового карловацкого митрополита Павла Ненадовича. В предисловии — «любомудрые российские отроки» заменены на «любомудрые сербские отроки», «российские детоводцы и учителя» на «сербские детоводцы и учителя», а в остальном текст был отпечатан без изменений (Афанасьева А. Т. Указ. соч. С. 95).

В течение всего восемнадцатого столетия эта русская грамматика использовалась не только в сербских, но и в черногорских школах (Мартиновић Н. С. Стари књижни фонд у Црној Гори//Скрипторије и манастирске библиотеке у Црној Гори. Цетиње, 1989. С. 19).

Что касается «Лексикона трезязычного», то распространение пусть и небольшого числа (10) экземпляров данной книги как бы наметило тенденцию в будущей сербской литературе XVIII века, знакомившейся с произведениями европейской художественной культуры при посредстве русской переводной книги и русских словарей.

Язык, который сербы усвоили от первых русских учителей и их киевских последователей, был церковнославянским языком в русской редакции. С «благословения» православной церкви он к середине XVIII века прочно вошел в сербскую школу и литературу. На нем составлялись административные документы, почти без изменений перепечатывались книги, адресованные сербским читателям; на «руско-славянский» переводились произведения немецких и французских авторов (Бажова А. А. Русско-югославянские отношения во второй половине XVIII века. М., 1982). И по мнению признанного знатока истории сербской литературы, Йована Скерлица, «это была единственная возможность для сохранения оказавшейся под угрозой национальной и религиозной самобытности» сербов. (Скерлић Ј. Српска књижевност у XVIII веку. Сабрана дела Јована Скерлића а. Књ. 9. Београд, 1966. С. 174). В 1770 году венский двор во главе с императрицей Марией Терезией решил основать для сербов кириллическую типографию, чтобы устранить потребность в русских книгах и тем самым уничтожить основу культурного влияния России на православное население Австро-Венгрии. Русским торговцам вторично был запрещен въезд в монархию.

Двадцатилетнюю привилегию на издание богослужебных и учебных книг получил венский книгопродавец Йосиф Курцбек. В качестве образца он взял киевский букварь 1751 года «Букварь или начальное учение ... письмены славенскими», в название которого добавил «писмены сербско-славенскими». С 1770 по 1798 годы книга выдержала 15 изданий, из них 12 выпустил предприимчивый австриец. Его буквари стоили в шесть раз дешевле русских. Между тем продать их сербам оказалось не так-то просто (Гавриловић Н. Историја ћирилских штампарија у Хабсбуршкој Монархији у XVIII веку. Нови Сад, 1974. С. 170).

Проблема заключалась в том, что уже со второго издания (1774 год) Курцбек по предписанию свыше был вынужден дополнять букварь немецкой азбукой, но сербы не желали приобретать книги с немецким текстом. Этой ситуацией воспользовался в Венеции Димитрий Феодосий, который в 1775 году перепечатал, чуть изменив, первое издание букваря от 1770 года, и получил при этом немалую прибыль (Михајловић Г. Указ. соч. С. 152).

Курцбек лишь с восьмого издания (1786) стал выпускать букварь только со славянской азбукой.

В ходе культурно-образовательных реформ австрийские власти предполагали окончательно запретить употребление русских учебников. Планировалось создание учебных книг на сербском и немецком языках, а также замена кириллицы на латиницу.

Теодор Янкович Мириевский — управитель сербских школ вен-

герской области Банат — категорически не согласился с предложением печатать учебники для сербского населения латинским шрифтом и в знак протеста уехал из Австро-Венгрии в Россию, где стал одним из организаторов системы народных училищ (Попов Н. К вопросу о реформе Вука Караджича // Журнал Министерства народ. просвещения. 1882. Апр. С. 192—194).

К концу XVIII века церковнославянский язык русской редакции, уже достаточно «сербизированный», использовался в широких слоях народа в качестве разговорного.

Высокий авторитет русской учебной книги, сначала кириллического, а затем гражданского шрифта, сохранялся у сербов вплоть до начала XIX столетия. Об этом можно судить и по «Каталогу разных церковных, молитвенных, исторических и школьных славяно-сербских и славянских [т. е. русских. — А. Ш.] книг (1804), которые находились у Дамиана Каулицы, книгопродавца в Новом Саде. Этот город в XVIII веке был одним из культурных центров австрийских сербов.

Каталог состоит из двух частей. В первой учтено 136 изданий кириллического шрифта, которые разделены по форматам. Во второй — 307 книг гражданской печати, расположенные по алфавиту названий. Почти все светские издания из второго раздела каталога принадлежат к изданиям Н. И. Новикова, а также последующих арендаторов типографии Московского университета.

Судя по каталогу, наиболее популярными у сербов в 1804 году были российские учебники русского и иностранных языков. Особое внимание уделялось произведениям, рекомендованным для детей и подростков — «для пользы российского юношества».

Возвращаясь в конце нашего повествования к трем учебникам, привезенным к сербам учителем М. Т. Суворовым: «Первому учению отроком» Ф. Прокоповича, «Славенской грамматике» М. Смотрицкого и «Лексикону треязычному» Ф. Поликарпова, можно сказать, что они стали «ключевыми» изданиями в «русский» период сербской школы XVIII века. Эти книги оказали помощь в овладении грамотой и посредничество при переводе и изучении иностранных языков.



«Мне дали имя при крещении — Анна»

Р. А. КОМАРОВА,
кандидат филологических наук

На Руси имя Анна было любимо и особо почитаемо с первых лет христианства, т. к. оно принадлежало матери Богородицы. В России отмечалось два памятных дня, связанные со св. Анной. *Летняя Анна* — 7 августа (25 июля), отмечается как день кончины Св. Анны. Полагают, что останки ее были перевезены из Палестины в Константинополь в 710 году. В этот день в наших широтах издавна замечалось похолодание. «Летняя Анна, — говорилось в народе, — припасает утренники». По нему определяли характер будущей зимы: «Холодный день на Анну — к морозной зиме». *Зимняя Анна* бывает 22(9) декабря. В этот день празднуется зачатие пресвятой Богородицы и отмечается память св. пророчицы Анны, матери пророка Самуила. На зимнюю Анну, как отмечал В. Даль, беременным женщинам предписывался строгий пост.

Имя *Анна* означало «благодать» (из древнееврейского) и имело много производных: *Анночка, Аннушка, Аннуша, Аннуся, Аннюня, Нюня, Аня, Ана, Анюра, Нюра, Нюрася, Нюраха, Нюраша, Анюша, Нюша, Анюта, Нюта, Ануся, Нуся, Нюся, Аннета, Нета, Ася*.

В России имя Анна перед революцией занимало третье место по популярности, уступая лишь Марии и Александре. После революции частотность его снижается и к тридцатым годам оно лишь на двадцатом месте, а в шестидесятые годы оттесняется в разряд редких имен (Бондалетов В. Д. Русский именник, его состав, статистическая структура и особенности изменения // Ономастика и норма. М., 1976. С. 45).

Бездуховное общество отвергло овечье имя высокой духовностью. Опросы показывали, что это имя стало восприниматься как грубое, просторечное. В то время как в Западной Европе имя Анна было по-прежнему окружено большим пиететом, пользовалось

популярностью (всегда модное!) и считалось красивым. К счастью, в последнее время в стране наблюдается оживление интереса к этому имени.

Первая же носительница этого имени на Руси принесла земле русской благодать христианства. Исторические документы засвидетельствовали роль Анны в христианизации Руси: Киевский князь Владимир взял греческий город Корсунь и потребовал от греческих императоров Василия и Константина отдать ему в жены их сестру Анну. В случае их отказа угрожал захватить Константинополь. Испуганные и огорченные императоры согласились, но с условием: «Не стоит христианам отдавать родственников своих за язычников, но если крестишься, то и сестру нашу получишь и вместе Царство небесное, и с нами будешь единоверник; если не хочешь креститься, то не можем выдать сестры своей за тебя». Владимир согласился принять христианство. После его крещения был совершен и обряд бракосочетания, Анна была верной помощницей Владимира во всех церковных делах, его любимой женой, подарившей ему сыновей Бориса и Глеба, которым суждено было стать одними из первых русских святых. В этом киевская Анна напоминает своих библейских тезок: Анну из Ветхого Завета, мать пророка Самуила, и Анну из Нового Завета — мать Девы Марии.

С именем Анна ассоциируется привлекательный женский образ, с тонкой, чувствительной богобоязненной душой. Страстность ее молитв способна творить чудеса. Анна из Ветхого Завета, будучи долго бесплодной, усердно молилась о даровании потомства и была услышана. Родив сына, назвала его Самуилом, что значит «услышанный Богом». Другая Анна, из Нового Завета, тоже долго не имела детей, но горячие ее молитвы дошли до Бога и она подарила миру Марию, будущую мать Спасителя. Упоение молитвой, поэтический талант и дар пророчества стоят в одном ряду с именем Анна.

Из глубины веков идут страстно-убеждающие слова псалма библейской Анны, матери Самуила: «Не умножайте речей надменных; дерзкие слова не исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела у него взвешены» (Ветхий завет. Первая книга Царств. 2, 3). Жаль, что человечество не слышит своих пророков.

Немало русских женщин, носивших имя Анна, оставили свой след в русской истории. Это и дочь Ярослава Мудрого, и императрица Анна Иоанновна, и дочь Петра Великого, и многие другие. О некоторых из них мы и поведем свой рассказ.

Слава о красоте и уме дочери Ярослава Мудрого докатилась до далекой Франции. Король Генрих I послал нарочного в Киев, чтобы привезти ее в Париж. Красота Анны произвела большое впечатление на Генриха, и Анна Ярославна стала его женой и королевой

Франции. После смерти Генриха I Анна Ярославна удалилась в Сенлис, чтобы провести остаток жизни в монастыре, но оттуда была похищена французским дворянином графом Раулем де Крепи и Валуа. Они прожили с графом двенадцать счастливых лет.

Необыкновенной привлекательностью выделялась среди современников вторая дочь Петра I — *Анна Петровна*. Умна, красива, образованна, прекрасно говорила по-немецки, по-французски. Анна Петровна прожила мало, но память о ней надолго сохранилась в России.

Ее муж герцог Гольштейн-Готторпский Карл Фридрих в память о своей жене в 1735 году учредил орден Святой Анны. Девизом ордена были слова: *Amantibus Justitiam Pietatem Fidem* (Любящим справедливость, благочестие и веру). В инициалах этот девиз скрывал и другой смысл: *Anna Imperiatori Petra Filia* (Анна — императора Петра дочь).

В 1797 году орден был введен в число российских орденов и разделен на три степени, а в 1815 — была добавлена четвертая: «Устанавливались следующие знаки ордена Анны: золотой крест, покрытый красной финифтью, с изображением святой Анны в середине, красная лента с желтой каймой по краям и восьмиконечная звезда с красным крестом посередине, обрамленным девизом. Первая степень обозначалась крестом на ленте через левое плечо и звездой. Вторая — крестом меньшего размера на узкой ленте на шее. Третья — малым крестом на узкой ленте в петлице. Четвертая степень ордена представляла собой красный финифтевый медальон с крестом и короной, который помещался на рукоятке холодного оружия и иногда назывался „клюдкой“» (Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена. М., 1991. С. 196). Это был самый распространенный орден в России.

В русской поэзии навсегда сохранится воспетая Пушкиным красота *Анны Петровны Керн* — женщины незаурядной с нележкой, но счастливой судьбой. Ее внешность редко кого оставляла равнодушным. Когда ей было тридцать семь лет (она была уже вдовой, матерью взрослой дочери), в нее без памяти влюбился двадцатилетний молодой офицер, воспитанник Первого Петербургского кадетского корпуса А. В. Марков-Виноградский. Перед ним открывалась блестящая карьера военного, но он вышел в отставку, чтобы жениться на Анне Петровне Керн. В жертву были принесены карьера и материальное благополучие. Без малого сорок лет прожили они вместе. И ничто не могло нарушить трогательно-нежного согласия этой пары. В 1864 году побывав на именинах А. П. Керн, Тургенев написал в своем письме к П. Виардо: «В молодости, должно быть, она была очень хороша собой. < . . . > Приятное семей-

ство, немножко даже трогательное . . .» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 5. М., 1988. С. 268).

Через много лет после свадьбы ее муж, будучи уже в зрелом возрасте, записал в своем дневнике: «Благодарю тебя, Господи, что я женат! Какое счастье возвращаться домой. Как тепло, хорошо в ее объятиях! Нет никого лучше, чем моя жена. Моя любовь к ней неизменна, как свет солнца! Я счастлив от ее прикосновений. Ее голос, мягкий, мелодичный чарует меня! Я весь любовь, весь счастье и нет для меня радости за чертой моей семейной жизни». (Дневник А. В. Маркова-Виноградского хранится в Институте русской литературы РАН).

Влекущая красота и неиссякаемое женское обаяние как бы запрограммированы в имени Анна. Годы не уносят ее красоту, как это часто бывает, а делают ее величественнее и царственнее. Секрет такого долголетия состоит в том, что «телесное благолепие» Анны находится в гармонии с ее высоким духом. Духовность питает красоту, придает ей неотразимую силу, отблеск божественного света. Недаром в стихотворении Пушкина, посвященном А. П. Керн, сказано, что встреча с ней внесла в жизнь поэта «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь».

Своим поэтическим и пророческим дарованием известна *Анна Ахматова*. Она предчувствовала не только грядущие перемены в своей судьбе, но ее вещее чувство предсказывало и мировые беды. Недаром своей покровительницей Анна Ахматова считала пророчицу Анну, встретившую в Иерусалимском храме младенца Христа. Ее поэзия всегда прямо или косвенно окрашена обращением к Богу: «Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу»; «Отчего же Бог меня наказывал каждый день и каждый час?»

Талант и красоту Аннам приходится часто очень дорого оплачивать. Но свой страдальческий путь проходят Анны с большим достоинством благодаря все той же одухотворенности натуры.

«Пускай я не сон, не отрада и меньше всего благодать», — писала А. Ахматова. Так неужели и впрямь имя Анна не несет в себе никакой благодати? Да нет, высокий жребий, выпадающий на долю носительниц этого имени и есть тот благой дар, который символизирует значение имени Анна.

Саратов

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ МИФЫ



В ПОИСКАХ БЕЛОВОДЬЯ

Э. М. МУРЗАЕВ,
доктор географических наук

В пестром ряду неведомых географических объектов — легендарное *Беловодье*. В России известно много мест, содержащих в названии словосочетание *белая вода* — хорошая, чистая, светлая, вкусная, святая: Беловодск, Беловодское. Но мой рассказ не о них, а о далекой неведомой стране, о вольной земле, где текут прозрачные реки, где человек свободен, честен в своих помыслах и поступках, верен христианскому учению.

Истоки легенды о Беловодье связывают с путешествием некоего инока Марка на восток из Топозерской обители в Архангельской губернии. Марк ходил в Сибирь, пересек великую степь Губарь (Гоби), попал в Китай, дошел до государства Опоньского (Япония), что лежит в «окияне-море», где и нашел желаемое Беловодье. Здесь жили истинные христиане, построившие 40 российских церквей. Датируют это путешествие восемнадцатым веком.

В 1898 году уральские казаки снарядили депутацию из трех человек в большое путешествие для подтверждения Беловодья инока Марка. Маршрут казаков детально описан одним из них — Г. Т. Хохловым и даже по современным представлениям поражает грандиозностью. Они посетили Константинополь, Грецию, Кипр, Ливан, Палестину, а через Суэцкий канал и Красное море попали на Цейлон, Суматру, в Сингапур, Индокитай, Гонконг, Шанхай,

Японию. Затем на пароходе прибыли во Владивосток и через Сибирь, наконец, возвратились к себе на родину. Путешественники искали Беловодье и нашли... белую воду в Восточно-Китайском море: «Не эта ли самая местность называется Беловодием — говорили мы между собой, — так как вода совсем от прочих вод отменная — белая на большом пространстве. Почему здесь морская вода белая, спросили мы. Эта вода проникает от великой реки Кианга — ответили нам» (Хохлов Г. Т. Путешествие уральских казаков в Беловодское царство//Записки по РГО по отд. этнографии. СПб., 1903. Т. 28. Вып. 1. С. 86).

Большой материал о «бегунках» из России в поисках счастливого царства обобщен К. В. Чистовым, показавшим разные маршруты путешественников по азиатским просторам, он привел любопытное замечание известного сибирского публициста и писателя Н. Ядринцева о том, что переселенцы старообрядцы, обосновавшиеся в алтайской долине Бухтармы, первоначально нашли в ней свое желанное Беловодье, но позже разочаровались и предприняли новые походы в поисках святой земли (Чистов К. В. Легенда о Беловодье//Вопр. литературы и народного творчества. Труды Карельского филиала АН СССР. Петрозаводск, 1962. Вып. 35. С. 117—181).

По свидетельству паломника Якима Прохоровича, записанному и использованному в романе «В лесах» известным писателем Павлом Мельниковым, они «дошли в Сибири до реки Катунь и нашли там христолюбивых странноприимцев, что русских людей за Камень в Китай переводят. Тамо множество пещер тайных, в них странники привитают, а немного подале стоят снеговые горы, верст за триста, коли не больше, их видно. Перешли мы те снеговые горы и нашли там келью да часовню, в ней двое старцев пребывало, только не нашего они были согласу, священства они не приемлют. Однако ж путь к Беловодью нам указали и проводники по малом времени сыскали <...> Шли мы через великую степь Китайским государством сорок четыре дня сряду. Чего мы там не натерпелись, каких бед-напастей не испытали: сторона незнакомая, чужая, и совсем как есть пустая — нигде человечья лица не увидишь, одни звери бродят по той пустыне. Двое наших путников теми зверями при нашем виденье заедены были. Воды в той степи мало, иной раз два дня идешь, хотя бы калужинку какую встретить; а как увидишь издали светлую водицу, бежишь к ней бегом, забывая усталость. Так однажды, увидевши издали речку, побежали мы к ней водицы напиться; бежим, а из камышей как прыгнет на нас зверь дикий, сам полосатый, и ровно кошка, а величиной с медведя: двух странников растерзал во едино мгновение ока... Много было бед, много напастей!.. Но дошли-таки мы до Беловодья. Стоит там глубокое озеро, да большое, ровно как море какое, а зовут то озеро Лопонским, и течет в него с

запада река Беловодье. На том озере большие острова есть, и на тех островах живут русские люди старой веры» (Мельников П. (Андрей Печерский). Полн. Собр. соч. СПб., М., 1897).

В этом рассказе упоминается река Беловодье, но и какая-то неведомая земля Беловодье. Поразительно, как точно переданы географические названия и реалистичны сведения, сообщаемые путешественником: великая степь «как есть пустая» — это Джунгария, обширная пустыня, лежащая между Алтаем и Восточным Тянь-Шанем; «зверь дикий, сам полосатый, и ровно кошка» — тигр, который еще в прошлом веке был распространен в Туркестане, в тугаях Амударьи, Сырдарьи, в Семиречье и Джунгарии. Но самое удивительное — знание озера Лобнор и реки Беловодье. Именно так *белая вода* в тюркских языках Аксу называется самый полноводный исток Тарима. Алтайские староверы уходили еще дальше на юг — за Лобнор, за хребет Алтынтаг, в нагорья Кунылуна в поисках вольной земли, никем не управляемой.

Исследователи Центральной Азии Н. М. Пржевальский, М. В. Певцов и гораздо подробнее Г. Е. Грумм-Гржимайло и П. К. Козлов сообщали о необычных странствиях сибиряков. Первая партия отправилась в 1840 году, а через двадцать лет самая многочисленная группа в 130 человек пришла на Лобнор, где они обосновались, построили поселок, начали пахать землю, орошать поля речной водой. С местными жителями общались при помощи казахского языка, который усвоили еще на Алтае.

Г. Е. Грумм-Гржимайло беседовал с одним из участников похода староверов в Китай — Ассаном Емельяном Зыряновым. Он был сыном вожака, знавшим казахский, монгольский и китайский языки. Шли верхами, медленно, в караване были и женщины и дети. На Лобноре местные жители занимались рыболовством и охотой на водоплавающую птицу. Не ограничились русские странники Лобнором, а ушли еще дальше на юг, где достигли высоких долин Кунылуна и Северного Тибета. В пути встречались дикие лошади — куланы. Дороги в сказочное Беловодье так и не нашли. Возвратились обратно.

В 1889 году П. К. Козлов виделся на Алтае с 76-летним старовером Е. М. Рахмановым, который тоже ходил на Лобнор в поисках Беловодья в «тихие места из-за притеснения веры». Он рассказал, что за Алтынтагом, в высокогорном урочище Гас, русские поселенцы построили хутор, стали заниматься земледелием и охотой. Сеяли зерновые привезенными семенами, добывали дикого зверя, имели мясо и кожу. Особенно понравились им куланы, которых называли *польскими конями*, связывая определение *польский* со словом *поле*, считая их степными, вольными. Здесь была абсолютная свобода, тихое место, кругом ни души, никто не мешал жить как хотелось.

Однако соскучившись по родным местам, собрались в обратный путь, Рахманов возвратился без красавицы дочери Пелагеи. Она была похищена турфанским беком, стала его любимой женой, которому родила троих детей. По описанию Н. М. Пржевальского, в урочище Гас почвы сильно засоленные, много солончаков. Только у ключей растет тростник, чий и другие злаки: «так что пастбища в подобных местах довольно хороши» (Пржевальский Н. М. От Кяхты на истоки Желтой реки. М., 1948).

На Алтае староверы жили по соседству с калмыками, западными монголами. Многие русские усвоили здесь казахский и монгольский языки, диалекты алтайского. Монголы буддисты. Они-то и рассказали о священной обетованной *белой земле*, где люди, не известные другим народам, живут в справедливости и счастье. И лежит эта земля где-то далеко на юге, за высокими горами, глубокими долами, обширными пустынями, и текут там чистые реки.

Николай Константинович Рерих побывал на Алтае в 1926 году, во время своей великой экспедиции, когда он пересек Азию от Индии через Гималаи, Тибет, пустыни Центральной Азии. Мудрый человек, философ, художник, ценил творчество народа. За несколько лет до его посещения Алтая, в 1920 году, очередная группа алтайских староверов вновь ушла на поиск легендарной земли. Но ни один из них не вернулся. Путешественник записал рассказ седобородого строгого старовера о маршруте, ведущем к Беловодью: «Отсюда пойдешь между Иртышом и Аргунью. Трудный путь, но коли не затеряешься, то придешь к соленым озерам. Самое опасное это место. Много людей уже погибло в них. Но коли выберешь правильное время, то удастся тебе пройти эти болота. И дойдешь ты до гор Богогорше, а от них пойдет еще труднее дорога. Коли осилишь ее, придешь в Кокуши. А затем возьми путь через самый Ергор, к самой снежной стране, а за самыми высокими горами будет священная долина. Там оно и есть, самое Беловодье. Коли душа твоя готова достигь это место через все погибельные опасности, тогда примут тебя жители Беловодья. А коли найдут они тебя годным, может быть, даже позволят тебе с ними остаться. Но это редко случается.

Много народу шло в Беловодье. Наши деды Атаманов и Артаманов тоже ходили. Пропадали три года и дошли до светлого места. Только не было им позволено остаться там, и пришлось вернуться. Много чудес говорили они об этом месте. А еще больше чудес не позволено им было сказать» (Рерих Н. К. Избранное. М., 1979).

Н. К. Рерих попытался расшифровать географические названия в этом рассказе: *соленые озера* — это великая котловина Цайдам между Наньшанем и Тибетом, где действительно соленые озера окружены сухими и топкими солончаками. Горы *Богогорше* или *Богогорье* — хребет Бурхан-Будда, *Кокуши* — Кокушили. *Ергор* —

высокая равнина Чантанг, это уже северная часть Тибетского нагорья. *Беловодье* — священная земля Шамбала или Белый Остров, место трех тайн, долина посвящения Будды: «Шамбала есть священное место, где земной мир соприкасается с высшим состоянием сознания. В Тибете Шамбала, Чаншамбала, то есть северная. Адреса Шамбалы разные» (Рерих Н. К. Указ. соч.).

В индийской мифологии указывается, что Шамбала (Шамбхала) лежит где-то севернее Индостана и какой-то реки Сита. Как она теперь называется: Тарим, Амударья или Сырдарья? Более определенно локализуют Шамбалу Л. Н. Гумилев и Б. И. Кузнецов. Изучая картографию Тибета, они нашли Шамбалу — на северо-западе. По их мнению две тысячи лет назад ее заселяли саки. Интересна, но не бесспорна этимология, предложенная этими авторами: *Шам* — персидское имя Сирии; *боло* — «верх, поверхность». В современном персидском *бала* «верхний, высокий»; *боленд* «высокий, возвышенный»; *боленди* «возвышенность, холм, вершина» (Гумилев Л. Н., Кузнецов Б. И. Страна Шамбала в легенде и истории//Азия и Африка сегодня. 1968. № 5. С. 48—50).

Зачатки представлений о Белой земле находят и в китайском фольклоре, что получило отражение в древних источниках. А. П. Терентьев-Катанский, изучая легенду о счастливой стране Востока, локализует ее в горах Куньлуня, которые считались у китайцев священными: «Белая земля мыслится в легенде как нечто вполне материальное». Здесь плодородные почвы, не знающие засух. «С деревьев падают огромные цветы, устилающие землю благоуханным ковром. Вода блаженной земли приятна на вкус и целебна. Чудесные птицы разносят во все стороны светлого царства свои учения Будды» (Терентьев-Катанский А. П. Легенда о «Белой земле»//Страны и народы Востока. География, этнография, история. М., 1976. Вып. 18. С. 209—212).

Монголы *Белую землю* отождествили с *Шамбалой*, а китайцы упоминали о *белом народе*, проживающем где-то на западе. По представлению японцев, чтобы достичь Белой земли, нужно пройти сто миллионов стран по *белой дороге*, пересекаемой реками Зла и Зависти. По мнению А. П. Терентьева-Катанского, в легендах о Белой земле у народов Азии повсеместно прослеживаются два мотива: социальной утопии, страны всеобщего блага и локализации таинственной страны на западе, где смыкаются величайшие цепи Тянь-Шаня, Куньлуня, Гималаев и Гиндукуша. Замечу, что такая приуроченность объяснима. Труднодоступность заоблачного горного узла порождает таинственность, а тайна в свою очередь обрастает вымыслами и легендами.

И в Сибири, якобы, существовали обетованная земля Белогорье и счастливый город. Так, азербайджанский поэт Низами Гянджеви

(XII—XIII вв.) «описал город — подобие рая и благословенную страну Хирхиз на далеком севере, в верховьях Енисея, придав ей черты утопического государства всеобщего благословения, равенства, братства и счастья» (Кызласов Л. Р. Античная традиция о благословенном городе в Центральной Азии//Вестник Моск. У-та. История. Серия 8. 1992. № 3. С. 31—37). Этот автор видит в стране *хирхиз* страну киргизов, хакасов, указывая на античную традицию, восходящую к Платону и Аристотелю, идеализирующую безоблачные города и страны. Он приводит восторженные слова исландского поэта С. Стурлусона об Азии: «В этой части мира все красиво и пышно. Там владения земных плодов, золото и драгоценные камни. Там находится и середина Земли. И потому, что сама земля там во всем прекраснее и лучше, люди ее населяющие тоже выделяются всеми дарованиями: мудростью и силой, красотой и всевозможными знаниями. Вблизи середины Земли был построен град, снискавший величайшую славу» (там же, с. 35).

Интересно, что среди литературных памятников XV века на Руси есть «Слово о рахманах». Утопическая мысль находит остров долгожителей среди великой реки Океан, где мудрые люди обитают в полном согласии, где нет распрей и войн, нет ни железа, ни золота, ни серебра, не пьют вина, не едят мяса, не болеют, не занимаются торговлей и стяжательством, воровством, питаются дикорастущими плодами круглый год и пьют сладкую дождевую воду. Молятся богу, не имея храмов, живут в чистоте и великой мудрости до 150 лет. Не здесь ли истоки путешествия инока Марка? Сюжет этот, конечно, пришел к нам с Востока, о чем говорит и имя островитян *рахманы*. Арабское мужское имя *Рахман* «милосердный», один из многих эпитетов Аллаха (Слово о рахманах//Памятники литературы древней Руси. Вторая половина XV в. М., 1982. С. 174—177).

Романтический Восток неистощим. Здесь истоки многих удивительных утопий, в основе которых мечта о райской жизни, не знающей противоречий, когда блаженный человек совершенствуется в мудрости созерцанием и пониманием величия мироздания.

Много *Белых* рек и озер не только на Востоке, но и в Европе. Все ли они названы так по цвету воды или берегов? Думается, что во многих случаях в таком ряду присутствует другая мотивация: «большинство ученых в настоящее время склоняются к точке зрения, согласно с которой в Центральную Европу характерная для азиатских культурных традиций цветовая символика проникла под влиянием степных кочевников Евразии во время переселения народов» (Иванов Вяч. Вс. Цветовая символика в географических названиях в свете данных типологии//Балто-славянские исследования. М., 1981. С. 163—177).

Академик О. Н. Трубачев отметил, что *Беловодье* и *Белая Русь*

как названия, возникли из системы географической ориентации: *Белая Русь* — западная, *Черная Русь* — северная, *Червонная* — южная и сослался при этом на В. И. Даля, у которого в статье *белый* действительно есть такие слова: «Кроме *Великой, Малой* и *Новой* Руси, остальная, т. е. западная часть ее разделяется на *Белую* (Могил., Витеб., Минс.), *Черную* (Гродн., Ковен.) и *Червонную* (Волынь, Подоль)» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I). О. Н. Трубачев пишет: «русские крестьяне переселенцы, уходя все дальше на восток, к самому восточному океану лелеяли смутную заветную надежду о счастливой западной земле Беловодье — земле западных вод» (Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., Наука. 1991).

Где находится Земной рай Эдем, место обитания Адама и Евы до грехопадения? Судя по тому, что Библия создавалась на Ближнем Востоке, то и Эдем должен находиться где-то там же. Однако в средневековой Европе, когда были уже известны страны и великие культуры Азии, географическое положение земного рая переместилось на восток. Воистину, был прав Н. К. Рерих, когда утверждал: «романтизм не живет без Востока».

Мечта о счастливой, вольной жизни присуща всем народам. Вспомним лейтмотив русских сказок о богатых и блаженных странах с молочными реками и кисельными берегами. Такой миф в некоторых сюжетах локализуется какой-то Дарьей-рекой. И опять Восток! Там, якобы, должна существовать великая страна, где господствуют мудрость и абсолютное знание. Страна эта имеет несколько названий: Эдем, Шамбала, Беловодье, Дарья-река и еще много других.

Топонимия Москвы**Васильевский спуск**

*М. В. ГОРБАНЕВСКИЙ,
кандидат филологических наук*

В образовании новых русских городских топонимов после 1917 года по известным социально-политическим причинам практически не использовались названия церквей, монастырей, религиозных праздников и т. п.

Сейчас мы наблюдаем иной процесс: массовое возвращение на карту русских городов агитопонимов (*агио-* от греч. «святой»), ранее утраченных в результате неоправданных, идеологически обусловленных переименований улиц, площадей и других объектов (например, в Москве улицы: *Знаменка, Ильинка, Пречистенка, Воздвиженка* и др.).

Так, до самого начала 90-х годов ни в устной, ни в письменной речи не употреблялся топоним *Васильевский спуск* (Москва). Это — безымянная ранее территория склона, ведущего от храма Покрова Пресвятой Богородицы (собора Василия Блаженного) вниз — к набережной реки Москвы и Большому Москворецкому мосту. Собор был основан Иваном Грозным в 1554 году в ознаменование победы над Казанским ханством и в память покорения Казани, которое произошло в день Покрова Пресвятой Богородицы.

Территория, расположенная ниже храма Покрова, стала использоваться для различного рода мероприятий в конце так называемой «перестройки», когда Красная площадь оставалась местом, закрытым для них. Но в средствах массовой информации, например, в тексте о старте из центра Москвы международного марафона мира журналистами использовался как своеобразный эвфемизм именно

топоним Красная площадь, хотя данный старт производился с территории, лежащей ЗА границей площади.

Позже, с дальнейшим развитием политизации масс, перенесением митингов и манифестаций с Манежной площади на названный участок близ храма Покрова (достаточно вспомнить массовые митинги конца марта 1993 г.) возникла острая потребность в использовании его точного географического наименования. Благодаря влиянию средств массовой информации в кратчайшие сроки в русской речи закрепился неофициальный (ибо он нигде не зарегистрирован) топоним *Васильевский спуск*: «Голишников А. М. ...Вчера, когда мы, народные депутаты, закончив заседание в этом зале, вышли на улицу, что мы обнаружили на Васильевском спуске? Убраны турникеты, стоит толпа наркоманов» (Российская газ. 1993. 1 апр.); «Ерин В. Ф. ...Я хотел бы вначале сообщить вам о том, что в связи с такой напряженной обстановкой и наличием большого числа людей на Васильевском спуске работниками внутренних дел, дополнительными силами общественности, выделенными мэрией специально для поддержания общественного порядка, был организован «коридор» не вдоль Васильевского спуска, вправо, где вы обычно ходите, а прямо, непосредственно от Спасских ворот» (Там же); «Лужков Ю. М. ...Они развернули людей от Белого дома и пытались через Боровицкие ворота выйти на набережную реки Москвы и, так сказать, состыковаться для организации мощной конфликтной акции с другой манифестацией, которая проходила на Васильевском спуске» (Там же); «Многотысячные колонны москвичей прошли вчера от Пушкинской площади по Тверской до стен Кремля. По призыву организаций, поддерживающих позицию Президента России на предстоящем референдуме, люди вышли на улицу, чтобы выразить свою готовность снова сплотиться в борьбе за демократические преобразования в стране... А на Васильевском спуске состоялся большой концерт «звезд» нашей эстрады. Наверное, легче назвать тех, кто в этом концерте не участвовал...» (Вечерняя Москва. 1993. 22 апр.). Активизация топонима *Васильевский спуск* в речи связана и с тем, что это место начало использоваться для различных культурных и спортивных мероприятий.

Примечательны оба компонента данного топонимического словосочетания. Нарисательное *спуск* воспринимается носителями русского языка как составная часть тематического ряда слов, обозначающих линейные внутригородские объекты типа «улица», «площадь», «переулок». На самом деле мы имеем дело с ложной частью этого тематического ряда, ибо даже исторически слово *спуск* в него не входило, в отличие, например, от вышедшего из употребления слова *крестец* со значением «небольшая городская площадь с перекрестком»: *Никольский крестец*, *Варварский крестец*, *Ильинский кре-*

стец и др. (московским крестцам, их истории, этимологии их названий посвящена специальная глава в одной из лучших книг по истории столицы: Москва. Подробное историческое и археологическое описание города. Издание А. Мартынова. Текст составлен И. М. Снегиревым при сотрудничестве самого издателя. М., 1865. Т. 1. С. 176—189). Не выделяет термин *спуск* в своем специальном исследовании «Географические термины в топонимии Москвы» известный специалист профессор Э. М. Мурзаев среди терминов *вал, ворота, бутырки, гора, берег, болото, враг, застава* и др. (Мурзаев Э. М. Географические термины в топонимии Москвы // Географические названия в Москве. Вопросы географии. Сб. 126. М., 1985. С. 47—59).

Однако тот же исследователь вводит словарную статью *спуск* в свой «Словарь народных географических терминов»: «СПУСК. Наклонная поверхность, по которой спускаются вниз (ССРЛЯ, 1963, 143). В топонимии — склон с проложенной по нему дорогой, тропой, улицей. Ср. *опускаться, пуск*. Ул. Кловский Спуск и Андреевский Спуск в Киеве. Семантическая параллель см. *сходня*» (М., 1984). Именно с таким содержанием термин *спуск* определяет черты данной территории — дорога вниз вдоль кремлевской стены, склон у храма Покрова.

Сравним дореволюционные и современные издания: «Уже Покровский собор (собор Василия Блаженного) сразу отличается своей причудливой архитектурой от храмов Кремля. Построенный в память завоевания Казани и Астрахани, отдавшего в руки московского посада торговые пути на Каспий и Сибирь, он составил из восьми первоначальных храмов (...) И как „обетный“ храм, соединенный с ростом Московского посада, а не боярства, приходившего в это время в упадок, он был вынесен в пику боярам за пределы Кремля, а посад, на ров, отделявший Красную площадь от спуска к Москве-реке» (По Москве: Прогулки по Москве и ее художественным и просветительным учреждениям. Под ред. Н. А. Гейнике, Н. С. Елагина, Е. А. Ефимова, И. И. Шитца. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 23); «Собор Покрова, что на Рву, более известный как храм Василия Блаженного, расположен в южной части Красной площади, близ Спасских ворот Кремля, над спуском к Москве-реке» (Памятники архитектуры Москвы: Кремль, Китайгород. Центральные площади. М., 1982, с. 398).

Весьма примечательна и первая часть топонима *Васильевский спуск*. Имеющая форму прилагательного, она образована путем трансонимизации не от официального наименования храма — Покрова Пресвятой Богородицы, а от его народного названия — собор Василия Блаженного, ибо имя Василия Блаженного носил лишь один из приделов храма, пристроенный к основному сооружению в 1588 году. Такова была сила духовной народной московской традиции:

москвичи очень любили и почитали юродивого Василия как учителя, а после его кончины — как небесного молитвенника и покровителя. Ср. такие сведения о нем: «Место, где он [собор. — М. Г.] основан, раньше было кладбищем с церковью во имя Святой Живоначальной Троицы, в которой был похоронен святой юродивый Василий Блаженный <...> Существует много легенд, связанных с благочестивыми подвигами и провидческими способностями юродивого, например, такая. Наслышавшись о подвижнической жизни Василия, Иван Грозный однажды призвал его к себе во дворец и велел поднести ему чарку вина. Блаженный, приняв ее, вылил вино в растворенное окно. Царь приказал налить ему другую, и Василий сделал то же самое. Тогда царь с гневом спросил юродивого: — Зачем же ты так бесчестно поступаешь с государевым жалованием. — Тушу пожар в Новгороде, — отвечал блаженный. Вскоре весть о пожаре в Новгороде оправдала слова юродивого. Рассказывали, что в 1547 году Василий предсказал великий пожар Москвы. Василий Блаженный — добрый сын России и патриот Москвы <...> В целях исправления нравов народных и власть имущих он взял на себя подвиг „юродства ради Христа“. Юродивость — новый чин мирянской святости — входит в русскую церковь с начала XIV века» (Черкасов-Георгиевский В. Г. Москва: религиозные центры и общины. М., 1992. С. 12).

Мотивировка и конкретная разновидность модели образования в речи городского топонима здесь, несмотря на необычность деталей его истории и современных фактов 90-х годов XX века, достаточно прозрачны: антропоним Василий Блаженный → придел Василия Блаженного храма Покрова Пресвятой Богородицы → собор Василия Блаженного → Васильевский спуск. Это новое название вполне можно определить и как своеобразную топонимическую метонимию.

«Воробьиная ночь» Алексея Ремизова

С. Н. ДОЦЕНКО

В заметке А. Л. Топоркова «Воробьиная ночь» (Русская речь. 1988. № 4) были собраны лингвистические и этнографические сведения для объяснения восточнославянского поверья о «воробьиной ночи». Кроме того, упомянуты случаи использования этого поверья в русской литературе. К сожалению, от внимания автора ускользнула «сказка» А. М. Ремизова «Воробьиная ночь» (вошедшая в книгу «Посолонь», 1907). Миниатюра Ремизова любопытна прежде всего потому, что она не только прямо посвящена теме воробьиной ночи, но и опирается исключительно на фольклорный и этнографический материал, оригинально переосмысленный. Можно сказать, что никакого иного содержания, кроме фольклорно-этнографического, она не имеет. Отсюда ее предельная насыщенность фольклорными образами и мотивами. Рассмотрению их генезиса и смысла и посвящена эта заметка, имеющая характер комментария к тексту Ремизова.

Первый шаг к истолкованию текста делает сам писатель. Сопроводив «Воробьиную ночь» примечаниями, он сразу объясняет известное поверье: «*Воробьиная ночь* — так называется грозная ночь с сплошною молнией, когда лишь под утро разражается ливень». В данном случае автор следует за соответствующим местом книги А. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» (М., 1865. Т. II. С. 377; далее — только том и стр.). Описанию «бурно-грозовой» воробьиной ночи и посвящена ремизовская миниатюра: «И разомкнулось тридевять золотых замков, раскуталось тридевять дубовых дверей — туча за тучу зашла — затрещало, загикало, свистело, гаркало. *Воробушки* — ночные полуночники, выпорхнув, кинулись по небу летать». Как следует из примечания Ремизова, *воробушки* — «олицетворение молний». Этот образ навеян, бесспорно, все той же книгой Афанасьева: «..., *Воробьиная ночь*» стоит в связи со старинными сказаниями о птицах, как мифических спутниках грозы и вихрей» (II, 377). В другом месте Афанасьев сообщает, что в воробьях «олицетворялись грозные бури» (II, 378), а в образе птиц вообще — летучая молния (I, 494). Источник мотива очевиден.

Необычным кажется другой мотив — уподобление воробьиной

ночи «воробыиной свадьбе»: «Ковал кузнец воробыинову свадьбу, ковал крепко-накрепко, вечно-навечно, — не рассушить ее солнцем, не размочить дождем, не раскинет ветер, не расскажут люди. Ковал кузнец Кузьма-Демьян вековой веноч». Здесь Ремизов использует образы и мотивы русских свадебных песен. Свадьба обычно представлялась ковкою, о чем прямо говорилось в закликательных песнях: «Кузьма, Демьян — <...>/Скуй нам свадьбу,/Крепко, твердо,/Вековечно,/Долговечно:/Люди судют,/Не засудят;/Ветром вей, /Не развеять;/Солнцем сушить,/Не рассушить;/Дождем мочить,/Не размочить» (Шейн П. В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. СПб., 1900. Т. I. Вып. 2. № 1826. С. 552; далее — Шейн и №). В связи с образом «святых ковачей» (Кузьмы и Демьяна) Афанасьев пишет, что на них были перенесены «древние языческие сказания о мифическом кузнеце-громовнике» (I, 466). Это указание важно для понимания того, о чем он писал ранее — «о древнейшем представлении грозы брачным торжеством, любовною связью, в какую вступал бог-громовник с облачною или водяною (-дожденосою) нимфою» (I, 435).

Мифологическая экзегеза Афанасьева явилась основанием для уподобления Ремизовым г р о з ы — с в а д ь б е (см. его прим.): «Эта ночь представляется воробыиной свадьбой, на которой невеста-воробушка перед венцом причитывает». И действительно, у Ремизова невеста-воробушка причитывает: «Понеситесь вы, ветры, с высоких гор! Подуйте, ветры, на звонки колоколы! Вы ударьте, звонки колоколы, по сырой земле, расхатайте пески, раздвоите сыру землю на могиле матери. Вы сшибите, звонки колоколы, гробову доску! Сдуйте тонко-белое полотенце! Разомкните руки матери, раскройте глаза ее, поставьте ее на ноги. Не придет ли она, не прилетит ли к моему дню, к часу великому». Причет воробушки основан на известных в свадебном фольклоре причитаниях невесты перед венцом на могиле матери (или отца). Приведем лишь один пример:

И пойду я на колоколенку,
И ударю трижды в колокол,
И побужу своего родителя!
Расступися, мать сыра земля,
Расколися, ты гробова доска,
Раздерися, полотенце белое!
Вы растворитесь, очи ясные!
Разомкнитесь, уста сахарные,
Раскатитесь вы, руки белые. <...>» (Шейн. № 1327)

Среди почти двух десятков вариантов причитаний, собранных у Шейна, а также у Е. В. Барсова (Причитанья Северного края. М., 1872. Ч. I), нет ни одного, в точности соответствующего ремизовскому. Скорее всего, писатель использовал мотивы нескольких вариан-

тов, составив свой, в некотором смысле «сводный». Свадебная тема позволила ему включить в свою миниатюру текст свадебного причитания. Что касается мотива «невеста-воробушка», то можно предположить: он — ремизовское новообразование, вытекающее из уподобления: *г р о з а* = *с в а д ь б а*. Следовательно, *воробыиная* *грозовая* *ночь* = *воробыиная* *свадьба* (тем более, как писал Афанасьев, «воробей... птица, с избытком наделенная силой любовного жара...» (II, 377); ср. у Ремизова: «нагуливались воробушки до любви»). Но этот мотив встречается и в русских свадебных песнях.

Один такой вариант находим у Шейна (№ 2114, записано в Курской губернии), причем воробей — жених, а воробушка — невеста. Еще два варианта приведены в исследовании М. Халанского «Народные говоры Курской губернии» (СПб., 1904), которое Ремизов использовал при написании «Посолони» [ср. в книге «Иверень»: «Однажды я сделал опыт: я вспомнил, что надо прикоснуться к земле и только тогда оживу. Я взял Областные словари, издание II Отделения Академии Наук, и, медленно читая, букву за буквой, я, не спеша, обошел всю Россию. И откуда что взялось. Моя „Посолонь“ — ведь это не выдумка, не сочинение — это само собой пришло — дыхание и цвет русской земли — слова» (Ремизов Алексей. Иверень: Загогулины моей памяти. Berkeley, 1986. С. 25); «Посолонь» пестрит заимствованиями из книги М. Халанского, напечатанной в Сборнике Отделения русского языка и словесности Российской Академии Наук (Т. 76. № 5)]. Здесь в свадебной песне воробушка — невеста, а сокол — жених. Кстати, у Халанского встречается выражение «воробушка, воробей, рахманная пташечка». Возможно, оно явилось источником следующего эпитета у Ремизова: «Летали воробушки, прятались-тулились рахманные под небесные ракиты, под мосты калиновые...»

Таким образом, инспирированная Афанасьевым мифологема подкрепляется материалом русского свадебного фольклора. Это один из принципов, которым руководствуется Ремизов при обращении к фольклорной традиции: у него каждый народный образ в той или иной степени опирается на реальные тексты. Хотя при этом он может совершенно утратить связь с первоначальным контекстом и играть роль «декоративного» элемента. Так произошло, например, с образом «воробьевых гор»: «И падали кто как попало, бесхвостые, бесклювые, с неба на землю, — навалили горы воробьевые. И ничего-то не родила гора, родила воробьева гора один бел-горюч камень».

Мотив *г и б е л и* *воробьев* также взят писателем из книги Афанасьева: «По южно-русскому поверью, в темные воробыиные (или осенние) ночи *ч е р т м е р я е т в о р о б ь е в*: часть их отпускает на волю, а другую *п р е д а е т с м е р т и...*» (II, 377—378). Горы

погибших воробьев («воробьевые горы») ассоциируются у Ремизова с колоритным образом русских песен, которые он и цитирует: «Ах вы, горы, горы Воробьевские!/Породили, горы, бел горяч камень...»; «Ничего-то вы, горы, горы, не спородили;/Спородили вы, да горы, сер горяч вы камешек» (Соболевский А. И. Великорусские народные песни. СПб., 1895. Т. I. №№ 362, 365).

Цитируя песню, Ремизов оставляет без внимания ее основное содержание, поскольку оно никак не связано с темой «воробьиной ночи» или «свадьбы». Перед нами пример «авторской» этимологии. Со свадебной символикой связаны другие мотивы — «небесные ракиты», «мосты калиновые», «девичья краса» и «девичья воля», «раскачен жемчуг — васильковая слеза» (о параллелизме *катятся слезы* = *катится жемчуг* см.: Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 146). Со свадебной символикой связан и другой мифологический образ у Ремизова: п и р, на котором «разбили сорок сороков, тридцать три бочки,— и хлынуло пиво-мед пьяное-распьяное. Все поля и луга, леса, перелески, заборы и крыши до корня смочены». Эти бочки разбили воробушки-молнии, которые «справляли великий запой, хмельные ворушили, с пьяных глаз вили воробушки не воробьиное — гнездо ремезовое».

Пиво-мед — метафора дождя, как то следует из книги Афанасьева: «Главнейшими символами молнии была с т р е л а, а д о ж д я — м е д и в и н о; и то и другое играют важную роль в свадебном обряде» (I, 461). А. Н. Веселовский в качестве примера песенного параллелизма упоминает ту же символику: ветер, буря, дождь = пиво, мед, горелка (Историческая поэтика. С. 150). Воробьиная ночь с дождем и молнией в то же время и с в а д е б н ы й п и р, «где гости перепились и полегли» (Там же. С. 151). И здесь Ремизов, опираясь на фольклорные образы (свадьбы и свадебной поэзии — ср. у П. Шейна № 1773: «У меня свадьбка сонаряжена:/Сорок варей пива сварено»), дает мифологическую интерпретацию «воробьиной ночи». Очевидно, что без реконструкции фольклорно-мифологического подтекста многие образы и мотивы Ремизова теряют смысл. Об этом же, как о неперменном условии, писал еще М. Волошин: «Для того, чтобы понять и оценить сказочную фауну „Посолони“, необходимо дойти до истока каждого из мифов, собранных там» (Волошин Максимилиан. Лики творчества. Л., 1988. С. 511).

Представляется, что в свете всего изложенного проницательная мысль критика получает более основательное подтверждение.

Таллинн



Над какими «и» ставить точки?

Г. В. БОРТНИК,
кандидат филологических наук

Среди русских фразеологизмов существуют такие, происхождение которых связано с названием букв различных алфавитов, например: *выделявать ногами мыслете*, *стоять фертом*, *ни аза в глаза* (в кириллице буквы: *мыслете* — м, *ферт* — ф, *аз* — а); *от альфы до омеги*, *ни на йоту* (название букв греческого алфавита: *альфа* — первая, *омега* — последняя, *йота*).

Некоторые фразеологизмы, включающие название буквы, имеют и варианты написания. Например, фразеологизм *ставить точки над и* встречается в следующих вариантах: *ставить//поставить//расставить (все) точки//точку над//на и//і*. Московский исследователь доктор филологических наук Б. С. Шварцкопф совершенно обоснованно считает устаревшей форму с предлогом *на* (подробнее см.: Шварцкопф Б. С. Поставим все точки над е//Русский язык в национальной школе. 1971. № 3). В нашей картотеке указанный вариант также не встречается среди примеров употребления фразеологизма в современной литературе и публицистике.

Лексикографическая история этого фразеологизма начинается в словаре М. И. Михельсона «Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний» (СПб., 1903):

«Ставить точки на і (говорить о подробностях, договориться до большей ясности, точности).

Ср. Экая какая вы недогадливая. Вам нужны точки на і.

Станюкович. Первые шаги. 16.

Ср. Дело можно было считать совсем сделанным, но подполковник Свинын чувствовал в нем какую-то незаконченность и почитал себя призванным поставить *points sur les і*.

Лесков. Человек на часах. 13.

Ср. Неужели надо размазывать, ставить точки на і?

Достоевский. Бесы. 2, 6, 7.

Ср. *Mettre les points sur les i*.

Пример в сборнике Михельсона из произведения Н. С. Лескова подтверждает наблюдение Б. С. Шварцкопфа о том, что нередко фразеологизм *ставить точки над і* смешивается с фразеологизмом *поставить точку*, имеющим значение — кончать, прекращать какое-либо дело. Контекст рассказа Н. С. Лескова предполагает употребление именно фразеологизма *поставить точку*, т. к. подполковник чувствовал в деле какую-то незаконченность, а не неясность, недоговоренность.

Как следует из словарной статьи, М. И. Михельсон связывает происхождение фразеологизма в русском языке с калькированием французского выражения. Приведенные примеры употребления этого выражения в русской художественной литературе позволяют судить о том, что в конце XIX века идиома (если ее считать калькой) была еще не полностью освоена русским языком. Так, в цитате из рассказа Н. С. Лескова «Человек на часах», который датирован 1887 годом, она приводится частично во французском написании, являясь в русском тексте иноязычным вкраплением.

Наконец, очевидно, что в конце XIX — начале XX веков словосочетание писалось с буквы *i*. В связи с этим нельзя не обратить внимания на следующее обстоятельство. Если происхождение русского фразеологизма *ставить точки над і* связывать с калькированием соответствующей французской идиомы, то возникает вопрос, какая русская буква при переводе должна была бы точно соответствовать французской букве *i*, а также правилам русской орфографии. Как известно, буква *i* для передачи на письме звука [и] имелась как в латинице, так и в кириллице. Однако в русском варианте кириллицы, кроме буквы *i* до реформы графики и орфографии 1917 года звуку [и] соответствовали еще две буквы — *и восьмеричное*, а также *ижица*. Употребление этих букв регламентировалось правилами.

Буква *i*, в отличие от буквы *и*, употреблялась только перед гласными, перед *й* и в слове *мир* в значении «вселенная» (Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. М., 1988. С. 161). *Ижица* же, как отмечал В. И. Даль, «пишется в гречск. словах, отвечая за *и*» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 1991. Т. 4. С. 682). Таких слов, начинающихся с *ижицы*, в словаре В. И. Даля всего лишь пять.

Итак, при переводе на русский язык (если этот перевод был) французской идиомы *mettre les points sur les i*, включающей букву *i*, предпочтение отдано букве *i*, а не *и восьмеричному*, что более соот-

ветствовало бы правилам их употребления. И это предпочтение отнюдь не случайно.

Прямой смысл свободного словосочетания *ставить точки над i* и переносно-обобщенный смысл омонимичного фразеологизма тесно связаны. У пишущих идиому, конечно же, изначально было стремление графически подчеркнуть ее значение: «уточнять все подробности, не оставлять ничего недосказанного; доводить что-либо до логического конца, делать все вытекающие выводы».

Фразеологические единицы с таким же значением есть не только во французском и русском, но и в других европейских языках, например, в английском — *to dot one's i's*; немецком — *den Punkt auf i setzen*, польском — *stawiać kropkę nad i*.

Алфавиты всех этих языков имеют в своем составе букву *i*, которая и является образной основой идиомы. Вполне возможно, что в каждом из языков свободное словосочетание становилось фразеологизмом само по себе, так как «при быстром письме вырабатывалась привычка ставить точки над *i* после того, как закончена фраза или абзац» (Овсянников В. З. Литературная речь. Толковый словарь современной общелитературной фразеологии. М., 1933. С. 275). Таким образом, получалось, что только после расстановки точек над всеми буквами *i*, которые имелись в тексте, написанное приобретало графическую завершенность, которая и могла обеспечить (особенно в рукописном тексте) точность прочтения и смысловую ясность. Осознание этого факта и создавало предпосылки для фразеологизации свободного словосочетания *ставить точки над i*, которое, безусловно, употреблялось в каждом из названных языков, в том числе и в русском.

Применительно к русскому языку есть все основания полагать: именно порядком обозначения в тексте букв *i*, а не тем, что до унификации графики 1738 года эти буквы писались с двумя точками, объясняется и форма множественного числа у существительного *точки*, входящего в состав идиомы (это компенсировало невозможность отражения формы множественного числа у неизменяемого *i*), и появление факультативного компонента *все*, и нередкое употребление глагола *расставить* вместо *поставить*. Обстоятельство, отмеченное в словаре В. З. Овсянникова, многое может объяснить и потому заставляет усомниться в безоговорочной квалификации имеющегося в русском языке фразеологизма *ставить точки над i* как кальки с французского. Совпадение фразеологизмов в разных языках не всегда является результатом заимствования.

Любая семантическая единица, в том числе и фразеологизм, в каждом конкретном тексте получает столько смысловых, эстетических и прочих приращений, что говорить вообще, без поправки на конкретный текст, индивидуальный стиль, наконец, рече-

вую моду эпохи, о том, почему писатель отдал предпочтение той или иной единице, тому или иному написанию, невозможно. Как невозможно абстрактно, вообще, объяснить, почему некий писатель употребляет интересующий нас фразеологизм во французском написании, точно так же невозможно без обращения к конкретному тексту, без внимания к индивидуальному стилю, месту, времени создания произведения и т. д. объяснить, почему, например, И. С. Тургенев или Ф. М. Достоевский при несомненном знании французского языка предпочли французской идиоме русскую.

Итак, гипотетическое признание того, что фразеологизм *ставить точки над і* появился в русском языке не вследствие калькирования, а в результате переосмысления собственно русского свободного словосочетания, объясняет закономерное употребление в русском варианте идиомы буквы *і*. Ведь написание в выражении *ставить точки над і* вместо *і* *десятеричного* и *восьмеричное* делало бы это выражение бессмысленным тогда, когда оно употреблялось как свободное словосочетание и, безусловно, не способствовало бы его фразеологизации.

После 1917 года графический облик фразеологизма предопределила реформа графики и орфографии: буква *і* была исключена из русской азбуки. Вследствие этого фразеологизм мог писаться либо с кириллической буквой *и*, либо с использованием латинской буквы *i*, которая в условиях отвыкания общества от *и* *десятеричного* была, естественно, менее желательной, чем буква *и*. Начиная с «Толкового словаря русского языка» под ред. проф. Д. Н. Ушакова написание фразеологизма *ставить точки над і* с использованием буквы *и*, вероятно, традиционно дается как единственное во всех, кроме одного, нормативных словарях русского языка: «Ставить (поставить) точки на и или над и» (Толковый словарь русского языка под ред. проф. Д. Н. Ушакова. Т. 4. стб. 762); «ставить точки на и (над и), ставить точки над „и“ (на „и“)» (Словарь современного русского литературного языка. Т. 5, стб. 6; Т. 15, стб. 736); «ставить точку (точки) над „и“, ставить точки на „и“» (Словарь русского языка. М., 1961. Т. 4. С. 536); «ставить точку (точки) над (на) „и“» (Ожегов С. И. Словарь русского языка М., 1973. С. 739); «ставить точки (точку) над [на] и» (Фразеологический словарь русского языка под ред. А. И. Молоткова. М., 1986. С. 452); «ставить (поставить) <все> точки над (на) „и“» (Жуков В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка. М., 1980. С. 370); «ставить точки над и» (Бабкин А. М., Шендцов В. В. Словарь иноязычных выражений и слов. М., 1987. С. 111).

И только в «Школьном толковом словаре русского языка» (М., 1981, с. 392) фразеологизм представлен в написании с буквой *і*. Правда, так же он написан и в «Указателе» словаря А. М. Бабкина и

В. В. Шендецова (см. с. 647), а в «Толковом словаре русского языка» и в «Словаре русского языка» подчеркивается, что «наше выражение появилось тогда, когда еще в русской азбуке была буква *i*, отмененная реформой правописания 1917 года». Думается, что приведенное замечание имеет характер не столько этимологической справки, сколько свидетельствует о некоторой неудовлетворенности составителей указанных словарей графическим обликом представляемой идиомы. Однако это не влияет на практически единодушные рекомендации лексикографов писать рассматриваемый нами фразеологизм с использованием строчной кириллической буквы *и*, которая в одних словарях заключается в кавычки, а в других — нет.

А между тем собранные нами примеры употребления фразеологизма в современной художественной литературе и публицистике позволяют утверждать, что тенденция употреблять для написания фразеологизма не только кириллическую, но и латинскую букву привела к стойкому преобладанию в написаниях наших дней именно буквы *i*. В подавляющем числе примеров, которыми мы располагаем, латинская буква *i* употребляется с кавычками. И лишь рекомендованное словарями написание не прописной, а строчной буквы подтверждается в контекстах: «Таким образом, точка над *i* была поставлена» (Гинзбург Е. Крутой маршрут//Юность. 1988. № 9. с. 41); «Публикуя это интервью, мы не ставим никаких точек над *i*» (Головина Е. Звездная магия//Комсомольская правда. 1989. № 212); «Мы не ставим точки над *i*, не выступаем в роли трибунала» (Комарова Е. Из первых рук//Учительская газета. 1988. № 122).

Если задаться вопросом, почему среди современных написаний фразеологизма — вопреки рекомендациям нормативных словарей — доминируют написания с латинской буквой *i*, ответ следует связывать с тем, что в сознании и современного носителя русского языка переносно-обобщенное значение идиомы чрезвычайно связано с прямым смыслом свободного словосочетания *ставить точки над i*. Поэтому у пишущих идиому возникает невольное стремление графически подчеркнуть, акцентировать «внутреннюю форму» фразеологизма, используя, ввиду отсутствия в русской азбуке соответствующей случаю буквы, идентичную латинскую.

Тенденция выделять кавычками входящую в состав фразеологизма букву поддерживается традицией использовать кавычки как выделительный знак, позволяющий дифференцировать в тексте изолированно употребляемые буквы и совпадающие с ними однобуквенные слова, например, букву *а* и союз *а*, букву *и* и союз *и*.

Встречающаяся же в контекстуальных написаниях фразеологизма прописная, а не рекомендованная словарями строчная буква объясняется тем, что для выделения употребленной в контексте изолированной буквы в отдельных случаях, наряду с кавычками,

используется прописная буква: «К букве „р“ приделала колечко с другой стороны. От „у“ бритвочкой стерла ногу» (Токарева В. Все нормально, все хорошо); «Орсовские склады располагались буквой Г» (Распутин В. Пожар).

Подводя итог представленным здесь рассуждениям о графическом облике фразеологизма *ставить точки над i* в современном русском языке, позволим себе сделать вывод о предпочтительном для наших дней написании его. Думается, что, несмотря на рекомендации современных нормативных словарей, в которых этот фразеологизм представлен в написании с кириллической буквой *и*, его все же целесообразно писать так, как диктует практика последних десятилетий, а именно: используя строчную латинскую букву *i*. Кавычки следует признать лишними, так как в русском тексте эта буква ни с чем не совпадает, и нежелательной омонимии быть не может. Прописная буква *I* менее предпочтительна потому, что она пишется без точки, а такое написание диссонирует с прозрачной «внутренней формой» фразеологизма.

Брянск

Уважаемые подписчики!

Не забудьте вовремя продлить подписку на «Русскую речь» на 2-ю половину 1994 года.



СОБОР, СОБОРНОСТЬ И СБОР

Т. А. ВОЛОШИНА,
кандидат филологических наук

В последнее время все чаще стали употребляться слова *собор*, *соборный*, *соборно*, *соборность*.

Незнание современными людьми значения и истории этого важного для отечественной культуры понятия приводит в одних случаях к неуместному употреблению этого слова, в других — препятствует более глубокому пониманию идей выдающихся русских философов, писателей, деятелей церкви.

«Как-то услышал по радио любопытную фразу, — писал В. Керимов в журнале „Наука и религия“. — Соборно, то есть сообща... Если так пойдет дело и дальше, то можно будет скоро прочитать: Гангстеры соборно ограбили... и т. п.» (1992. № 4—5). *Соборность* — не любое единство людей, это — сочетание свободы и единства людей на основе их общей любви к одним и тем же абсолютным ценностям, т. е. духовное и нравственное единство.

В четырехтомном «Словаре русского языка» у слова *собор* отмечено три значения: «1. В дореволюционной России: собрание должностных или выборных лиц для рассмотрения и разрешения вопросов организации и управления <...> 2. Собрание высшего христианского духовенства <...> 3. Главный христианский храм города или монастыря <...> [в словаре Даля это значение уточняется — главная бесприходная церковь]» (М., 1985).

Подробная информация о соборах во втором значении содержится в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Это собрание представителей церкви для обсуждения и разрешения вопросов и дел вероучения, религиозно-нравственной жизни и т. п. Соборы, или Синоды (из греческого) существовали в церкви всегда в виде временных собраний или в форме самостоятельных учреждений. Известны вселенские и поместные соборы. Существование в строе церкви соборов основывается на христианском учении и на вероучении основателей церкви. В Евангелии от Матфея сказано: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их» (18,

20), или в Евангелии от Иоанна: «Да будут все едино...» (17, 21). Обратим внимание на то, что само слово *синод*, по-русски *собор*, означает путь, по которому вместе проходят к одной цели.

От слова *собор* образованы производные *соборный*, *соборно*, *соборность*, а в XIX веке кроме того употреблялось существительное *соборяне*, означающее духовенство соборной церкви. Понять значение слов *соборно*, *соборность*, а в некоторых случаях и прилагательного *соборный*, исходя из трех указанных конкретных значений слова *собор*, может помочь 17-томный «Словарь современного русского литературного языка». В нем отмечены тоже три значения слова *собор*, но они отличаются от тех, что были указаны ранее. В частности, первое и основное значение этого слова — «собрание кого-либо, большое количество лиц, собравшихся в одном месте», остальные значения являются производными от него. Один из оттенков этого значения — «соединение, сочетание чего-либо». Форма творительного падежа этого существительного — *собором* — может выступать в наречном значении: «при участии всех, многих, соборно». Эта наречная форма отмечена и у Даля, который приводит в подтверждение пословицу «Собором и черта поборешь».

Именно с этим значением слова *собор*, которое сейчас уже почти неизвестно, связано употребление существительного *соборность*, а в некоторых случаях и прилагательного *соборный*: «Во всяком случае, в будущем Синод и Епископат должны показать принцип соборности и соборного решения всех вопросов» (Известия. 1990. 17 июня); «Соборность — это система доверия; она предполагает, что нравственное единство — возможно и достижимо» (Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию).

Сейчас, когда так возрос интерес к русскому культурному наследию, к истории философии, к христианству, многие обращаются к такому важному и сложному понятию, как соборность.

Соборность — одно из основных понятий славянофильства, означающее союз индивидов, собранных во имя идеи бога и любви, в отличие от «ассоциации» — механической общности людей (Философский словарь. М., 1987).

Одним из первых понятие соборности ввел А. С. Хомяков. Он считал, что основной принцип церкви заключается не в повиновении внешней власти, а в соборности. Соборность же — это свободное единство многих людей на основе их общей любви к Христу. Принцип соборности означает, что ни патриарх, имеющий верховную власть, ни духовенство, ни даже вселенский собор не являются абсолютными носителями истины. Идеи Хомякова оказали влияние на Ф. Достоевского, В. Соловьева, Н. Бердяева, Л. Карсавина и других русских мыслителей XIX века.

Рассматривая значение и историю слов *собор*, *соборность*, мы

должны ответить на вопрос, связаны ли они со словом *сбор*? Близость этих слов очевидна. В словаре Даля, в котором родственные слова располагаются гнездами, лексемы *сбор*, *сбор*, *сборно* и др. объединяются в одной словарной статье с глаголом *сбирать*. То же мы видим в словаре древнерусского языка И. И. Срезневского, где слова *съборъ* и *соборъ* не различаются, и выступают в одних и тех же значениях: «собрание, скопление, собрание, церковная община духовенства, общественное богослужение и т. д.»

Поэтому в древнерусских текстах мы встретим употребление слов *сбор*, *сборный* в тех же значениях, в которых в современном русском языке употребляются *сбор* и *соборный*. К примеру, в Лаврентьевской летописи в записи под 945 годом говорится о заключении договора Игоря с греками и о клятве русской дружины: «а хрестеяную Русь водиша роте в церкви Святаго Ильи, яже есть над Ручаем, конец Пасынъче беседы: се бо бе сборная церкви, мнози бо беша варязи хрестеяни и Козаре» (А христиан русских приводили к присяге в церкви Святого Ильи, что стоит над Ручьем в конце Пасынчей беседы: это была соборная церковь, так как много было христиан — варягов и хазар).

Изучение этимологии и истории слов *сбор* и *собор* показывает, что они восходят к одному источнику — слову *съборъ*, известному в древнерусском и старославянском языках. Оно является калькой греческого слова *synagoge* «собрание, сходка».

После утраты редуцированных звуков [ъ] и [ь] от существительного *съборъ* образовалось два слова — *сбор* и *собор* (как *всходы* и *восход*), причем за вторым существительным, которое было книжным по происхождению, закрепились и соответствующие значения: *сборно*, *соборность*.

История *соборность*, *сборно* интересна тем, что показывает, как вышедшие из употребления слова могут снова вернуться в русскую речь, обрести новую жизнь. Уместно вспомнить высказывание известного русского философа Н. О. Лосского о том, что идея соборности может быть использована для разрешения многих трудных проблем социальной жизни.

Ростов-на-Дону

Как выбрать знак препинания в бессоюзном сложном предложении

О. М. ЧУПАШЕВА,
кандидат филологических наук

В бессоюзном сложном предложении используются различные отделяющие знаки препинания, и абитуриенты нередко затрудняются в том, какой из них следует поставить в том или ином случае.

Как известно, в бессоюзных предложениях возможны запятая, точка с запятой, двоеточие и тире. Знак выбирается в зависимости от грамматического значения (смысловых отношений) предложения, следовательно, сначала надо определить смысл предложения. Значение в сложных предложениях выражается прежде всего союзами. В союзных предложениях они имеются, а в бессоюзных словесно не выражены, поэтому, чтобы определить смысл, надо перестроить бессоюзное сложное предложение в союзное, то есть включить в него союз. Здесь важно помнить, что союзы вводятся как между первой и второй частями предложения (сочинительные и подчинительные союзы), так и в его начало (это касается только подчинительных союзов). Например: 1) «Был бы ученик — учитель найдется» (из газеты). — Был бы ученик, *а* учитель найдется. Вводим противительный союз *а* и таким образом выясняем, что у предложения противительное значение. 2) «Марго удивилась: из-за нее так давно никто не плакал» (Токарева. Ничего особенного). — Марго удивилась, *потому что* из-за нее так давно никто не плакал. Вводим причинный союз *потому что*, значит, предложение имеет причинное значение. 3) «Ему сообщили о результатах эксперимента — задумался». — *Когда* ему сообщили о результатах эксперимента, задумался. Ввели временной союз *когда*, у предложения временное значение.

Напомним, что *запятая* ставится в бессоюзных предложениях с перечислительным значением. Такие предложения можно перестроить в сложносочиненные с союзом *и*: «Двигатель взревел, джип понесся в темноту» (Коршунов. Крестonosцы). — Двигатель, *и* джип понесся в темноту.

Если хотя бы одна часть подобных предложений значительно

распространена и тем более внутри нее уже есть знаки препинания (обычно это запятые), то между частями рекомендуется ставить *точку с запятой*. Например: «Все более укреплялось его стремление служить большому, самому серьезному, как он говорил, искусству — искусству драматического театра; ему он и посвятил всю свою жизнь» (Пименов. Встречи после спектакля).

Запятую ставят и тогда, когда бессоюзное предложение имеет присоединительное значение, то есть вторая часть предложения представляет собой дополнительное замечание, добавочное сообщение. Эти предложения можно перестроить в союзные с союзом *причем*, например: «Появились положительные рецензии, самое большое место в них отводилось исполнительнице роли Денизы» (Пименов. Там же).— Появились положительные рецензии, *причем* самое большое место в них отводилось исполнительнице роли Денизы. В такие предложения можно вводить также союз *и*, но он будет равен союзу *причем*: Появились положительные рецензии, *и* самое большое место в них отводилось исполнительнице роли Денизы.

Двоеточие между частями бессоюзного сложного предложения рекомендуется ставить в следующих случаях:

1) В предложениях с изъяснительным значением. Такие бессоюзные предложения можно перестроить в сложноподчиненные с союзами *что, как, будто, как будто* и под.: «Она видела: Лия Акимовна не понимает изменчивой жизни» (Антонов. Царский двугривенный).— Она видела, *что* Лия Акимовна не понимает изменчивой жизни.

2) Особое внимание обратим на предложения с изъяснительным значением, при преобразовании которых в союзные вводятся сочетания *и увидеть, что; и услышать, что; и почувствовать, что* в соответствующей форме. Например: «Я посмотрел на аудиторию: они [студенты] жадно слушали...» (Л. Гинзбург).— Я посмотрел на аудиторию *и увидел, что* они жадно слушали; «Я прислушиваюсь: где-то раздаются шаги».— Я прислушиваюсь *и слышу, что* где-то раздаются шаги; «Малинин притронулся рукой: плечо было теплое» (Симонов. Живые и мертвые).— Малинин притронулся рукой *и почувствовал, что* плечо было теплое.

3) В бессоюзных предложениях с причинным значением. Они перестраиваются в сложноподчиненные с союзами *потому что, так как, ибо, оттого что, вследствие того что, из-за того что, благодаря тому что* и т. п. Например: «Спорить с ним было невозможно: на все у него имелись незыблемые формулы» (Л. Гинзбург).— Спорить с ним было невозможно, *потому что* на все у него имелись незыблемые формулы.

4) В бессоюзных предложениях, вторая часть которых поясняет

содержание первой части. При преобразованиях в такие предложения включают союзы *а именно, то есть*. Например: «Совещание приняло единственное решение: поручили мне написать методическое пособие» (из газеты).— Собрание приняло единственное решение, *а именно*: поручили мне написать методическое пособие.

Тире ставится в таких бессоюзных предложениях:

1) В предложениях с сопоставительно-противительным значением, показателем которого являются союзы *а, но*. Например: «Я бился над этими тремя строчками бесконечно, вертел их и так и сяк — ничего не получалось» (Л. Гинзбург).— Я бился над этими тремя строчками бесконечно, вертел их и так и сяк, *но* ничего не получалось.

Однако если в таких предложениях резкое противопоставление отсутствует, то в них можно ставить запятую. Ср.: Отец его был каменщиком, мать работала на фабрике.— Отец его был каменщиком, *а* мать работала на фабрике.

2) В бессоюзных предложениях с следственным значением. В них можно вставить союз *так что*. Например: «Перед тобой вся жизнь впереди — действуй, работай, строй!» (Грибачев. Выбор века).— Перед тобой вся жизнь впереди, *так что* действуй, работай, строй!

3) В бессоюзных предложениях с временным значением. Эти предложения преобразуются в сложноподчиненные с союзами *когда, пока, с тех пор как, до тех пор как* и под. Например: Ему переводили шутки — смеялся.— *Когда* ему переводили шутки, смеялся.

4) Тире рекомендуется ставить в бессоюзных предложениях с условным значением, в них можно ввести союз *если*. Ср.: «Хватит [самолету] разгону — круг будет описан» (М. Кольцов. Мертвая петля).— *Если* хватит разгону, круг будет описан.

5) Тире рекомендуют ставить в бессоюзных предложениях с уступительным значением. О нем свидетельствует возможность подстановки союзов *хотя, несмотря на то что*: «Дождь, ветер, снег — идем» (Косенков).— *Хотя* дождь, ветер, снег — идем.

6) Тире ставят в бессоюзных предложениях с сравнительными отношениями между частями. В такие предложения можно ввести союз *как*: Молвит слово — соловей поет (посл.).— Молвит слово, *как* соловей поет.

Обратим внимание на то, что в русском языке есть бессоюзные предложения, состоящие из двух частей и имеющие не одно, а несколько значений. Такие предложения можно преобразовать в различные союзные. Например: 1) «Мошкara жалила мокрые от дождя лица, в сапогах булькала вода» (Л. Гинзбург).— Мошкara жалила мокрые от дождя лица, *и* в сапогах булькала вода. Мошкara жалила мокрые от дождя лица, *а* в сапогах булькала вода (перечислительное и противительное значения). 2) «Я глядел на них

— мне было спокойно ...» (А. Толстой. Дуэль).— Я глядел на них, *и* мне было спокойно. *Когда* я глядел на них, мне было спокойно (перечислительное и временное значения). 3) Молодежь ушла: на вечере стало скучно.— Молодежь ушла, *потому что* на вечере стало скучно. Молодежь ушла — на вечере стало скучно.— Молодежь ушла, *поэтому* на вечере стало скучно (пример из кн.: Д. Э. Розенталь. Справочник по пунктуации.— М., 1984. С. 191. Заметим, что здесь надо ввести следственный союз *так что*, а не наречие *поэтому*.)

В подобных предложениях возможна постановка как одного, так и различных знаков препинания — в зависимости от того значения, которое вкладывает в предложение пишущий. Так, в первом предложении оба значения предполагают постановку запятой. Во втором предложении можно ставить не только тире, но и запятую: Я глядел на них, мне было спокойно. Оба знака будут правильными. В третьем предложении, кроме двоеточия и тире, возможна и запятая, если учесть возможность преобразования его в сложносочиненное с союзом *и*: Молодежь ушла, на вечере стало скучно (ср.: Молодежь ушла, *и* на вечере стало скучно). Все три знака будут правильными.

Подчеркнем, что в предложениях с несколькими значениями возможна постановка одного-единственного или разных знаков препинания — в зависимости от типа значений. Если предложение имеет, например, перечислительное и присоединительное значения, то ставится только запятая; при изъяснительном, причинном и пояснительном значениях ставится только двоеточие и т. п. Если же семантико-смысловые отношения в предложении предполагают различные знаки препинания, то возможна их вариативность. Так, в предложениях с перечислительным, причинным и следственным значениями можно поставить запятую, двоеточие или тире; с причинным и временным значениями — запятую или тире и т. д.

Рассмотрим еще примеры. 1) «Вошла и удивилась: эта часть подвала была похожа на самую настоящую комнату» (Симонов. Живые и мертвые).— Вошла и удивилась, *что* эта часть подвала была похожа на самую настоящую комнату (изъяснительное значение); Вошла и удивилась, *так как* эта часть подвала была похожа на самую настоящую комнату (причинное значение). В этом предложении надо ставить только двоеточие. 2) «За этот год произошло чудесное превращение: мы стали взрослыми» (Инбер).— За этот год произошло чудесное превращение, *так как* мы стали взрослыми (причинное значение); За этот год произошло чудесное превращение, *а именно*: мы стали взрослыми (пояснительное значение). Здесь надо ставить только двоеточие. 3) «Старик отходит в сторону, толпа поворачивается к севильскому парню...» (М. Кольцов. Испанская весна).— Старик отходит в сторону, *и* толпа поворачивается к

севильскому парню (перечислительное значение); Старик отходит в сторону, *а* толпа поворачивается к севильскому парню (противительное значение); *Когда* старик отходит в сторону, толпа поворачивается к севильскому парню (временное значение). В этом предложении возможна постановка запятой или тире. 4) «Люди не стулья, их нельзя считать, умножать, делить» (Образцов. Долг совести).— Люди не стулья, *и* их нельзя считать, умножать, делить (перечислительное значение); *Так как* люди не стулья, их нельзя считать, умножать, делить (причинное значение, причина представлена в первой части); Люди не стулья, *так что* их нельзя считать, умножать, делить (следственное значение). В этом предложении возможна не только запятая, но и тире. 5) Лес рубят — щепки летят (посл.).— Лес рубят, *и* щепки летят (перечислительное значение); *Когда* лес рубят, щепки летят (временное значение); Лес рубят, *так как* щепки летят (причинное значение, причина во второй части); Лес рубят, *так что* щепки летят (следственное значение); *Если* лес рубят, щепки летят (условное значение). В указанном предложении можно поставить не только тире, но и двоеточие, и запятую, и каждый знак будет правильным.

Обобщим сказанное в виде алгоритма.

1. Определи, какие смысловые отношения имеет бессоюзное предложение, для этого перестрой бессоюзное предложение в союзное (подставь союз).

2. Сколько значений имеет предложение?

а) Одно.

3. Какое это значение?

4а. Если перечислительное (части незначительно распространены, внутри нет знаков препинания), сопоставительно-противительное (без резкого противопоставления), присоединительное, то ставь *запятую*.

4б. Если перечислительное (части значительно распространены, внутри есть знаки препинания), то ставь *точку с запятой*.

4в. Если изъяснительное, причинное, пояснительное, то ставь *двоеточие*.

4г. Если сопоставительно-противительное (с резким противопоставлением), следственное, временное, условное, уступительное, сравнительное, то ставь *тире*.

2б. Предложение имеет несколько значений.

5. См. знак для каждого значения, выбери один из них.

Мурманск



Простой и сложный крыловский Ларчик

В журнале «Русская речь» (1993. № 4) напечатана статья доктора филологических наук Э. Г. Бабаева «Механик и поэт», посвященная анализу басни И. А. Крылова «Ларчик», особенно значению ее последней, заключительной фразы: «А Ларчик просто открывался». Статья небольшая, но обстоятельная; все же хочется высказать несколько дополнительных мыслей по затронутой теме.

Помнится, в начальной школе учителя произносили и школьников учили произносить эту фразу с ударением на последнем слове, а не на предпоследнем. То есть не так: «А Ларчик прОсто открывался», а так: «А Ларчик прОсто открывАлся». Он не запирался и не отпирался, а открывался, как каждый прикрытый ящик или сосуд, надо только поднять или откинуть крышку.

Слово *просто* имело второстепенное значение, его иной раз можно и опустить: «Все глядели на меня, а я *просто* сидел и молчал»; «Ко мне стали приставать, тогда я *просто* встал и вышел»; «Когда станет жарко, *просто* надо раскрыть окна»...

Ларчик просто-напросто открывался, и Механику надо было попросту подойти и открыть его. Одним словом, не мудрить (хотя бы для начала). Мораль: не мудри зря.

Поговоркой же крыловская фраза вошла в речь с ударением на слове *просто*, усложнив его значение. Когда говорят: «А ларчик-то прОсто открывается», тогда законен поставленный в статье вопрос: «Просто, но как?». И оказывается, что секреты имеются, секреты, разные по значению, но важные для сути дела.

«Как он прошел в такой вуз? Ларчик *просто* открывается: он старательно подготовился и прошел по конкурсу». Или: «Ларчик открывается *просто*: у него дядя — министр».

Таким образом, мораль изречения по существу становится противоположной: если в басне — не мудри зря, то тут — зри в корень, поскольку Ларчик открывается просто, если знать секрет, который тут же сообщается.

Примеров такой эволюции афоризмов и сентенций много, и, как правило, это оправдывается обстоятельствами жизни. Но то, какими они вошли в девственное сознание, сохраняется и постоянно оживает в первозданном виде. И школьное восприятие крыловской фразы определяет живучий немудрящий подход, что там «просто» — это просто «просто»!

Александр Колин
Франкфурт на Майне,
Германия

ГДЕ СТАВИТЬ УДАРЕНИЕ?

Иногда в некоторых словосочетаниях встречается ударение на предлоге, например, *за́ лес* и др. Правильно ли это?

И. Н. Калинин,
Москва

Перенос ударения на предлог в сочетаниях существительного с предлогом для современного русского литературного языка — явление неживое. В XIX веке перенос происходил последовательнее, в настоящее время прослеживается тенденция к сокращению напредложного ударения.

Возникло это явление в глубокой древности по причинам фонетического характера и охватило вполне определенный и сравнительно узкий круг слов: например, сочетания, имеющие пространственное или временное значение (*по́ двору*, *за́ год*, *за́ полночь*), существительные, обозначающие части тела или одежды (*за́ плечи*, *за́ ухо*).

В процессе развития языка число случаев переноса ударения постепенно уменьшается, происходит выравнивание по типу ударения большинства сочетаний «предлог + существительное» (*за рабо́ту*, *за де́рево*, *за ме́ч*), но в диалектах это происходит медленнее, чем в литературном языке, поэтому непредложное ударение там представлено шире.

Судьба разных слов и разных предлогов в современном литературном языке различна. У различных слов могут варьироваться (при одном типе подвижности ударения) предлоги, на которые переносится ударение, падежи, в которых наблюдается перенос.

Все это учитывается современными нормативными словарями. В одних случаях (*за́ морем* — *за мо́рем*) варианты ударения считаются соответствующими литературной норме, в других непредложное ударение является единственно правильным: *хвата́ть за́ ногу*, *за́ руку* (Орфоэпический словарь русского языка. М., 1989).

Последовательнее сохраняется ударение на предлоге во фразеологических сочетаниях: *схватиться за́ голову*, *брать за́ душу*, *водить за́ нос*, *притягивать за́ уши*, *как снег па́ голову*, *час от часу не легче*, *как бог на́ душу положит*.

В некоторых случаях словосочетания, различающиеся уда-

рением, разошлись по значению: *ехать за город*, *находиться за городом* — это «ехать, находиться в пригородной местности», а *за город*, *за городом* — «по ту сторону города» и т. д.

В картотеках Института русского языка РАН ударение, которое отмечается в словосочетании *за лес*, представлено примерами из поэтической речи XIX и XX века.

А вон охлопья серой тучи,
Цепляясь за лес, там и сям,
Ползут пушисты и тягучи
Вверх к задремавшим небесам.

Н. Языков. Элегия. 1843.

Их шум, попавши на вокзал,
За водокачкой исчезал,
Потом их относило за лес,
Где сыпью насыпи казались...

Б. Пастернак. Высокая болезнь.

Только где же это было видно,
Чтобы Таня уходила за лес?
Это бабам
Попросту завидно,
Что они
Свое отцеловались.

М. Исаковский. Бабы разговоры

Однако современными нормативными словарями ударение на предлоге *за лес* не признается соответствующим литературной норме (Орфоэпический словарь русского языка» под ред. Р. И. Аванесова. М., 1989). Оно уходит из языка так же, как ушло пушкинское: «... и кот ученый все ходит по цепи кругом».

С. Н. Борунова



НОВЫЙ СТАРЫЙ ЖУРНАЛ

Возобновляется издание «Живой Старины»

Историки, этнографы, фольклористы, исследователи материальной и духовной культуры разных народов хорошо знают отечественные журналы «Этнографическое Обозрение» и «Живая Старина», выходившие до 1917 года. Эти периодические научные издания высоко ценились специалистами, оставаясь в то же время доступными широкому кругу читателей, интересующихся народной культурой, народной словесностью, традиционным бытом. До сих пор эти журналы читаются, цитируются, множество опубликованных в них статей и материалов сохраняет свою научную ценность как подробные и достоверные свидетельства уровня народной культуры, как источник фактических сведений о быте, сознании, обычаях, фольклорном искусстве различных этносов, в первую очередь народов, населявших Россию.

Имя журнала «Этнографическое Обозрение» уже вернулось: сейчас оно присвоено журналу, ранее выходившему под названием «Советская этнография» и в определенной мере продолжавшему проблематику и традиции старого издания. Возвращается и имя «Живой Старины».

Это новый журнал, однако его можно рассматривать в качестве преемника дореволюционного издания с тем же названием, хотя по своему содержанию они несколько различаются. Направление и предметный круг издания определяется так: журнал о русском фольклоре и традиционной культуре.

Главным редактором новой «Живой Старины» стал ее инициатор академик Никита Ильич Толстой, который принадлежит числу крупнейших современных славистов, лингвист, фольклорист, куль-

туролог. По роду своей деятельности он всегда отдавал много сил созданию благоприятных условий в нашей стране для развития наук, обращенных к народной словесности и традиционной культуре славян.

Новая «Живая Старина» ориентируется на широкого читателя, которого привлекают проблемы отечественной истории и культуры, но в первую очередь на тех, кто связан с фольклором и этнографией своими профессиональными занятиями — преподавателей высшей школы, музейных работников, учителей истории и литературы и т. п.

Издатели журнала «Живая Старина» понимают фольклор в широком смысле как духовную культуру народа постольку, поскольку она отражается в слове, а фольклористику — как комплексную дисциплину, теснейшим образом связанную с этнографией, лингвистикой (диалектологией в первую очередь), литературоведением, искусствоведением, этномузыковедением. Таким образом, спектр проблем, которые в доступной форме предполагается освещать на страницах нового журнала, будет достаточно обширен и интересен каждому, кому не безразличны пути и судьбы отечественной культуры.

Редакция журнала намерена привлекать к сотрудничеству ведущих специалистов России в области фольклористики, этнографии, лингвистики, литературоведения.

О целях и характере журнала «Живая Старина» дает представление содержание первых его номеров.

Открывается издание статьей крупного фольклориста и этнографа Б. Н. Путилова «Русская фольклористика у врат свободы». Ряд материалов первого номера посвящен 100-летию выдающегося исследователя славянской народной культуры Петра Григорьевича Богатырева (работы В. Е. Гусева, Н. И. Толстого, С. П. Сорокиной, С. И. Богатыревой). Язычество и суеверия по древнерусским изображениям стали предметом статьи А. В. Чернецова. В разделе «Язык и культура» помещаются работы О. А. Черепановой «Кем полохали детей на Руси», А. А. Турилова и А. В. Чернецова «Ангел Пострелил и зверь Любимец». В статье С. А. Иниковой исследуются символика и история духоборческого костюма. Работа К. В. Чистова воскрешает один забытый эпизод научной биографии замечательного лингвиста и фольклориста академика Виктора Максимовича Жирмунского. В рубрике «Обряды и обычаи» помещено описание ритуалов Егорьева дня (первый выгон скота) в западнорусской деревне (Е. Н. Разумовская). В номере читатель найдет заметки «Стих о Книге Голубиной» в записи И. Н. Заволоко» (А. Ф. Белоусов), «Анекдоты из архива Н. Е. Ончукова» (Т. Г. Иванова), «Имя собственное» (С. Е. Никитина, в рубрике «Из дневника собирателя») и др.

Второй номер журнала откроется теоретическими статьями С. Ю. Неклюдова «О слове устном и книжном», Е. А. Костюхина «Литература и судьбы фольклора», С. Е. Никитиной «Устная традиция и народное христианство». В. Е. Гусев обращается к анализу демонологических образов в «Житии» протопопы Аввакума, а в статье М. Л. Лурье и А. Е. Тарабукиной описываются представления о странствиях души по тому свету, отражаемые в особом жанре русского фольклора — «обмираниях». Проблемам народной музыкальной культуры посвящена статья М. И. Родительевой «О народной эстетике и теории песенной лирики». Рубрика «Крестьяне о своей культуре» включает статью А. В. Гуры «Вологодская свадьба глазами крестьянина». К 100-летию фольклориста и литературоведа А. И. Никифорова приурочен ряд публикаций. С современным мезенским фольклором знакомят читателя записи М. А. Енговатовой и О. А. Пашиной «По реке Вашке». Журнал касается проблем дидактики и педагогики: о программе «Мир народной культуры» в начальной школе пишет Т. А. Новицкая. Рубрика «Русское зарубежье» включает материалы о старообрядцах в штате Орегон (Р. Моррис).

Ряд материалов в каждом номере образует рубрику «Детская страничка».

Важным разделом журнала должна стать обязательная рубрика «Критика и библиография», как и «Научная жизнь». В первых номерах будут помещены информация и рецензии о новых фольклористических сериях, критический обзор работ о славянском языке (В. Я. Петрухин), а также информация о конференции «Культурный текст: структура, функции, жанр», о круглых столах «Славянский фольклор в инокультурном окружении», «Традиционная культура в системе досуга», о работе Международной комиссии по славянскому фольклору.

Журнал «Живая Старина» будет выходить четырежды в год (как и дореволюционный «тезка»). Его индекс по каталогу Роспечати — 73149.

Пожелаем новому журналу завоевать сердца читателей!

*А. Ф. Журавлев,
доктор филологических наук*